

Нравственные ограничения войны: Проблемы и примеры / Под общей редакцией Бруно Коппитерса, Ника Фоушина, Рубена Апресяна. М.: Гардарики, 2002. 407 с.

Как следует из предисловия, «представляемая книга посвящена справедливости и войне» (с. 6). Сверхзадача, которую поставили перед собой ее авторы, — утверждение и развитие *теории справедливой войны*, которую они считают «именно теорией» (с. 7). Исследование, объединившее специалистов из Бельгии, Китая, России и США, интересно как теоретико-методологической постановкой проблемы и ее широким охватом, так и попыткой оценить место нравственного ограничения войны (а возможно, и достичь такого ограничения) в международных отношениях обозримого будущего.

Методологически авторы стремятся увязать подход к войне с позиций нравственности не только с реалиями, но и с теорией войны и международных отношений. Во взглядах на взаимосвязь войны и этики, на возможность, необходимость и осуществимость нравственных ограничений войны, считают они, в науке и практике XX века четко обозначились три основных направления: реализм, милитаризм, пацифизм.

Реалисты (не путать с адептами школы «политического реализма») «так или иначе исключают или преуменьшают роль этики применительно к войне» (с. 22). В отношениях между государствами нет общих моральных ценностей, какие существуют между людьми, особенно принадлежащими к одной культуре. В случае же начала военных действий даже минимально присутствующие в межгосударственных отношениях моральные соображения теряют всякую силу (с. 15—16). Иными словами, камнем преткновения для реалистов оказывается возможность придерживаться в ходе войны каких-либо моральных норм и ограничений.

Милитаристы рассматривают войну как предпочтительное средство решения проблем, а тем самым и как благо. Война в такой ее трактовке должна быть победоносной и эффективной, мораль же препятствует тому и другому, и потому она не нужна (с. 22—26).

Авторы: Р. Апресян, Ги Ван Дамм, Б. Кашников, К. Кёлеманс, Б. Коппитерс, Н. Фоушин, А. Хартл, Шень Чжисюн, Ши Иньхун.

Для пацифистов война — это абсолютное зло, неприемлемое в любых обстоятельствах, а мораль, санкционирующая полный и безусловный отказ от войн и применения силы, служит нравственной преградой войне во всех ее формах (с. 26—32).

У каждого из этих трех подходов есть свои сильные и слабые стороны. Бесспорные практические трудности соблюдения моральных требований в ходе войны (реалисты) еще не повод отказываться от попыток ввести нравственные ограничения и добиваться их действенности. Война отнюдь не благо (милитаристы), а вынужденная необходимость, и потому отсечь от нее этику и мораль — значит многократно умножить все ее ужасы и жестокости. Отказ от войны (пацифисты), нравственно привлекательный, оставлял бы общество без крайних средств самообороны и морально неподготовленным в случае, если бы война все же была навязана; тем самым люди были бы обречены на дополнительные страдания и потери.

Теория справедливой войны, по мнению авторов, удачно вбирает в себя все конструктивное, что есть в каждом из трех подходов, одновременно избегая присущих каждому из них крайностей (с. 32—40). Эта теория «имеет двухчастную структуру: одна часть связана с процедурами, другая — с ценностями» (с. 388). Она четко определяет с позиций этики условия, при которых война может быть начата именно как справедливая (если подобные условия не соблюдаются, война не может автоматически претендовать на ранг «справедливой» со всеми вытекающими отсюда политическими и правовыми последствиями), а также нравственные правила ведения военных действий, нарушение которых тоже может давать основания для политических и правовых последствий, — фактор, замечу, приобретающий в современном мире все большее значение.

Книга включает две почти равные по объему части: теоретико-историческую (главы I—VIII), в которой с привлечением фактуры некоторых войн середины XX века рассматриваются теоретические, политические и правовые аспекты проблемы нравственных ограничений войны, и современную (главы IX—XIV), в которой сформулированные в первой половине работы положения и выводы анализируются применительно к войнам постбиполярного мира 1990-х — начала 2000-х годов. При этом первая часть, в свою очередь, состоит из двух разделов: в главах I—V анализируются шесть принципов *ius ad bellum*, определяющих условия, при которых война может быть начата как справедливая; главы VI и VII посвящены двум принципам *ius in bello*, которым необходимо следовать в процессе ведения войны для сохранения справедливости ее характера и целей.

Необходимым и достаточным условием права начать войну, когда все невоенные средства исчерпаны и/или не могут дать результата, является сочетание «правого дела», легитимной власти, добрых намерений, вероятности успеха, соразмерности предпринимаемых военных усилий харак-

теру и масштабам задач и понимание того, что в сложившихся обстоятельствах война есть необходимое, но именно крайнее средство (см. главы I—VI). Нравственными принципами ведения войны следует считать соразмерность форм, средств и методов применения военной силы целям войны и действиям противника, а также необходимость взвешенного отношения к использованию конкретных средств войны и дифференциации комбатантов и некомбатантов (все это авторы объединяют понятием «различие», не передающим, на мой взгляд, всего диапазона содержания англоязычного термина *discrimination*; см. с. 37 и 188—211).

Нет ни возможности, ни необходимости пересказывать содержание книги. Подчеркну только, что принципы нравственной оправданности решения начать войну и нравственного выбора средств, форм и методов ее ведения рассмотрены исключительно подробно, с обилием ссылок на научные труды и документы, на исторический материал. Столь же скрупулезны авторы и в перенесении своих рассуждений и выводов на военно-силовые реалии 1990-х: войны в Персидском заливе (1990—1991) и в Чечне (1994—1996), вмешательство НАТО в Косово (1999), военный ответ возглавляемой США коалиции на теракты 11 сентября 2001 года. Можно только пожелать, чтобы рецензируемая книга, будучи весьма ценным научно-справочным и аналитическим изданием, заняла свое место в библиотеке каждого международного юриста.

Авторы занимают в высшей степени политкорректную позицию, когда речь заходит о нравственно-политической оценке войн последнего десятилетия XX века. Не оспаривая и не подвергая сомнению официальные аргументы в пользу начала военных действий и их конкретных форм и методов, авторы указывают на издержки и негативные последствия анализируемых ими войн, но при этом не выражают своего явного несогласия (которое в некоторых случаях можно предположить) с самими войнами и/или методами их ведения. Это приводит к двусмысленности. Политически авторы правы: не их задача выносить оценки правительствам и ООН, тем паче по горячим темам, которые могут стать в будущем предметом рассмотрения в международном трибунале. Но в научном плане подобную позицию трудно истолковать иначе как косвенное признание весьма серьезных внутренних противоречий, если не пороков теории справедливой войны. Если теория не позволяет дать текущим событиям определенные оценки, притом оценки именно нравственные, а не какие-то другие, то это нечто большее, чем «некоторая неопределенность в той форме, которую принимает теория справедливой войны», что вряд ли позволяет считать данную теорию действительно «универсальной» (с. 388).

Оценку теории не надо путать с оценкой монографии. Книга великолепна: она рассматривает проблему глубоко и всесторонне, дает хорошее представление о становлении и последующей эволюции теории справед-

ливой войны, увязывает теорию с самыми современными процессами. Но теория — не убеждает. Она не только не снимает вопросы, добросовестно рассмотренные авторами работы, но и ставит ряд новых. Так, возникают вопросы в связи с неизбежными и многообразными, прежде всего моральными и психологическими, но и всеми иными тоже, последствиями *нравственного принятия войны* (пусть как справедливой); с трудностью разделения современной войны на фронт и тыл; с проблемой личности и государства в войне; с влиянием глобализации на характер и цели войн и военных конфликтов будущего.

С позиции отдельно взятого человека мало сказать, что война безнравственна, — она антинравственна, ибо в своей жестокости и тотальности не принимает в расчет и даже агрессивно отрицает не только жизнь человека и все, что ему в этой жизни дорого, но и сами основы общественного обустройства его бытия.

С позиций же общества и его институций (государство, религии, идеологии, корпоративные институты) война может представляться вынужденной необходимостью, а то и благом. Причем необходимостью и благом столь весомыми, что это дает право институциям и обществу требовать от человека любых жертв, включая его жизнь.

Подобное пересечение (не всегда противоположность) поистине жизненно важных интересов крайне взрывоопасно: прошлая и современная история изобилуют примерами того, как чрезмерность предъявляемых к личности требований военного времени (увечья, физические и душевные страдания, потеря близких, издевательства, пытки, голод, разрушения и т. п.) оборачивается социальным хаосом и разрушением институций, ответственных за такое положение дел или оказавшихся в ситуации «крайнего».

Попытки разработать и ввести некие нравственные ограничения войны, чем бы они в каждом конкретном случае ни диктовались, объективно направлены на смягчение, а в идеале — на снятие существующего противоречия. На первый взгляд задача невыполнимая — ведь сохранение войны как института неизбежно сохраняет и все ее ужасы и жестокости. Придание же войне неких, диктуемых нравственностью, ограничений способно не только облегчить физические (но вряд ли душевные!) страдания части непосредственных жертв войны, но и — в долговременной перспективе — закрепить войну как один из основных институтов общественного бытия. И все это под предлогом, что война становится более избирательной, менее разрушительной, сопряженной с меньшим числом потерь и вообще чуть ли не гуманной на фоне как исторического опыта, так и мирной современности, в которой сугубо гражданские формы и средства экономической и политической борьбы, дополненные практикой криминала и теневых структур, могут приносить подчас не меньшие страдания массе людей на протяжении десятилетий, а то и поколений. Если так, то

насколько оправданны, прежде всего нравственно, и целесообразны практически усилия, длительным, но неизбежным следствием которых становится — хотя того или нет — *нравственное оправдание, обоснование и принятие войны* хотя бы в ее самых мягких формах?

«...Гуманизм... получает повсеместную поддержку. А поскольку это так, то государствам все труднее открыто игнорировать гуманистические принципы и, следовательно, теорию справедливой войны» (с. 392). Теорию войны, пусть даже предельно справедливой по ее целям и всем остальным параметрам, вряд ли можно причислить к гуманистическим принципам. Принятие же самого факта войны (с оговорками и в контексте гуманизма, но принятие) здесь несомненно.

Уменьшение, смягчение физического страдания женщин, детей, стариков в периоды военных действий и вооруженной борьбы — само по себе в высшей степени благое дело, не нуждающееся в оправданиях. В современном мире с его научной продвинутой, информационными технологиями и быстрым накоплением баз данных по человеку и обществу давно уже стало очевидным и другое: дети, даже затронутые войной косвенно (например, отцы воевали за тридевять земель от родной страны и вернулись домой нравственно и психически изувеченные пережитым), — это психологически искалеченное поколение, и выправлять заложенные в него, а затем и переданные потомкам этико-нравственные, психические и социальные дефекты придется на протяжении нескольких поколений. Данный аспект проблемы пока не рассматривается ни теорией справедливой войны, ни другими подходами и дисциплинами; между тем в долгосрочной перспективе именно он представляется наиважнейшим, поскольку определяет направленность психологической, духовной и культурной эволюции отдельных стран и человечества в целом: от него зависит, возобладает в этой эволюции этика гуманизма или этика насилия.

XX век вызвал к жизни технологически абсолютно новый вид войны, в котором все больше стираются грани между фронтом и тылом. Традиционная европейская война была сражением воюющих армий, которые вначале продвигались к месту их соприкосновения по «мирной», «гражданской» территории (даже если это была территория нейтрального государства и/или страны противника), а затем отступали по ней же или устанавливали в побежденной стране свой порядок. В любом случае различие между фронтом и тылом было очевидно и легко привязывалось к местности.

Уже в Отечественную войну 1812 года Кутузова обвиняли в нарушении неформальных европейских правил ведения войны («нравственные ограничения» того времени), что имело свои основания. Но Англо-бурская, затем Первая и особенно Вторая мировые войны произвели фактически своего рода «нравственную» революцию: жестокости в отношении мир-

ного населения стали не только следствием эмоций и убеждений, но и получили логическое обоснование. Родились идеи:

- геноцида как полной ликвидации населения враждебной страны или определенных его категорий;
- сдерживания, то есть запугивания врага угрозой нанесения неприемлемого ущерба его экономике, структурам (тем самым и населению), а по существу, шантажа населения или взятия его в заложники;
- ударов по коммуникациям и расположенным в тылу структурам оборонного значения в качестве средства ослабления военного потенциала врага.

Проблема осложнялась тем, что военно-промышленные и военные цели находились среди гражданских объектов, а с развитием технологий и инфраструктур становились неотделимы от них. После 1945-го возникла концепция «ядерного сдерживания» (анализ этой проблемы с позиций различения комбатантов и некомбатантов выглядит в книге крайне неубедительно — см. с. 180—182 и 197—203). В 1990-е годы в ходе «миротворческой» операции НАТО в Югославии была продемонстрирована в действии новейшая концепция выведения из строя не только и не столько противостоящих вооруженных сил, сколько систем энергоснабжения и коммуникации, обеспечивающих практическую целостность государства и функционирование всех его систем (включая жизненно необходимые и абсолютно невоенные). С другой стороны, широкое распространение получили партизанские войны и все виды терроризма. Тотальное общество породило тотальную войну, в которой комбатантами становится все население: если имеются системы гражданской обороны, то не возникнет ли в случае войны искушение и даже целесообразность нанести по ним упреждающий удар?

Теория справедливой войны, если ее принимать без оговорок и в расчете на ее дальнейшую разработку, неизбежно заставляет задаться вопросом: как вести боевые действия в густонаселенной местности (европейская страна, город), так чтобы сам факт войны, ее формы, средства и методы не противопоставляли местное население и/или мировое сообщество государственным и международным структурам, ответственным за начало и ведение боевых действий, пусть даже такие действия изначально задумывались как бесспорно справедливые?

Здесь на первый план должна была бы выйти проблема, в рецензируемой книге полностью опущенная. Войны ведут не только государства, но и конкретные живые люди. Солдат на поле боя защищает не только родину или некие идеалы, но и прежде всего себя. Под давлением обстоятельств и действий противника он может совершить жестокости, преступления, зверства, в том числе по отношению к мирному населению. А может продемонстрировать и приверженность моральным нормам как мирного времени, так и войны. Мемуарная литература всех стран переполнена описа-

ниями эпизодов, когда военнослужащие в боевой обстановке обходились с врагом, руководствуясь правилом «Не поступай с другим так, как не хотел бы, чтобы поступали с тобой». С другой стороны, современное государство редко поощряет или требует от военнослужащих, чтобы они мародерствовали, насиловали, пытали. Обычно такие жестокости свидетельствуют о состоянии общества, государства, вооруженных формирований или же являются реакцией на действия другой стороны.

Тем самым проблема нравственных ограничений войны, коль скоро подобные ограничения признаются желательными или даже необходимыми, должна решаться не только в отношениях между государствами (здесь она теоретически давно решена), но и по всей вертикали — от государства до личности. При этом контролю за соблюдением принятых ограничений надлежит быть, видимо, не национальным, а международным, что порождает разного рода политические, правовые и практические трудности.

Складывается впечатление, что авторы увлечены поставленной ими проблемой применительно к межгосударственным и международным отношениям и не видят ее межличностных, то есть собственно человеческих, граней. Но хорошо известно, что личностные восприятия, оценки и выводы могут резко расходиться с макросоциальными, особенно когда последние выражены в сугубо официальной манере и продиктованы главным образом или исключительно формальной политической, правовой и/или бюрократической логикой. Это означает, что достигаемая и выражаемая средствами «высокой политики» легитимность военных акций и кампаний не будет ни полной, ни стабильной, ни даже вообще легитимностью, если ее по каким-либо причинам не поддержат (или недостаточно поддержат) население и элиты по обе стороны конфликта.

Глобализация, приблизившая человечество к формированию всепланетного миропорядка, основывается на доминировании в мире одной формации, одной социополитической и экономической системы и нацеливает ее на долгое существование в уже принципиально неизменном (хотя меняющемся в частностях) виде. Поскольку силовое обеспечение прав, интересов и порядка выглядит пока неизбежностью, глобализация требует ведения необходимых военных действий с позиций не просто силы (что автоматически давало бы со временем право более сильному смести этот порядок и заменить его своим собственным), а правовой и политико-психологической легитимности, при которой сама война и победа в ней работали бы на укрепление миропорядка, а не на его расшатывание и подрыв. Необходимым условием и частью такой легитимности неизбежно служит представление о справедливом характере войны в целом, ее целей, форм и средств, методов ведения и ее исхода: «...у тех, кто неразборчив в средствах ведения военных действий, общественная поддержка очень слаба» (с. 391).

По-видимому, в межгосударственных отношениях того типа, что доминировал с середины XVII (время становления вестфальской системы международных отношений) до конца XX столетия, проблема нравственного ограничения войны если и имеет, то лишь частичное решение. Государства не склонны считаться с такими ограничениями минимум в трех случаях: когда у власти находится диктатор, особенно движимый религиозным или идеологическим фанатизмом; когда страна многократно превосходит своего возможного или реального противника по военному и/или экономическому потенциалу; когда правящий режим в проигрывающем войну государстве загнан в угол у себя и за границей и ему уже нечего терять. При этом система международных отношений, лишенная какого-либо эффективно объединяющего начала да еще и ставящая государства в конкурентную ситуацию, объективно оставляет за собой роль конечного регулятора и арбитра, делая все, что связано с условиями и технологией применения силы, постоянно актуальным с политической и научной точки зрения.

Можно, наверное, показать, что относительный успех ООН как уникальной международной организации, удерживающей уже более полувека мир от военно-силовых крайностей, обязан не только усилиям государств-членов, но и тому, что на этот период приходится первичная фаза глобализации, которая потребовала и сделала возможным появление в мире объединяющих его начал, побуждающих искать и создавать единые нормы и ценности. Глобализация произвела такой эффект не только посредством экономики, новейших информационных технологий, угрозы ядерного уничтожения, но и благодаря нравственному вызову, каким в минувшем столетии стала война.

В условиях глобализации война, представляющаяся отдельному государству и даже ряду влиятельных в мире государств справедливой, может по ее целям, средствам ведения и/или другим параметрам подрывать формирующийся миропорядок, ослаблять его легитимность. Нечто подобное уже было в прошлом веке, когда две мировые войны побудили США выступить идейным и политическим вдохновителем западно-европейской интеграции, а затем и глобализации не в последнюю очередь ради того, чтобы максимально уменьшить вероятность непримиримых расхождений между ведущими странами Запада, чреватых риском новых войн.

Авторы не касаются влияния глобализации на теорию и практику справедливой войны. Но одно из следствий глобализации заключается в том, что уменьшается риск войн между государствами и, напротив, увеличивается вероятность разного рода конфликтов, как направленных против глобализации и/или отдельных ее сторон, так и, не исключено, имеющих целью достижение определенных целей в рамках самой глобализации, а также для ее продвижения, разворота в желаемом направлении, выстраивания ее тех или иных международно-политических, правовых и иных институций.

В этом контексте нельзя пройти мимо постепенно происходящего понятийного сдвига: вместо слова «война» все чаще используется слово «конфликт» (см. с. 40—44). Война предполагает «игру с нулевой суммой», отсутствие любых контактов с врагом, жесткое деление во внутренней политике на ура-патриотов и соглашателей. Уже во второй половине XX столетия все это было трудно осуществить на практике, а главное, это предельно ограничивало возможности политического и иного маневрирования противостоящих сторон. Наоборот, конфликт не требует борьбы не на жизнь, а на смерть: он допускает подержание с оппонентом широкой гаммы отношений, вплоть до торгово-экономических. Допускает он и внутривнутриполитические разногласия в конфликтующем государстве, которые теперь не грозят инакомыслящим сколько-нибудь суровыми карами. Но важнее всего то, что институционализированный конфликт в принципе способен служить средством достижения и поддержания стабильности, будь то в государственном устройстве (разделение властей) или в международных, и особенно внутриглобальных, отношениях.

Теория справедливой войны вполне может оказаться востребованной в качестве нравственного обоснования неизбежной институционализации международных конфликтов, которые будут выступать как средства формирования политического обрамления будущего глобального миропорядка, а в перспективе — ограничения масштабов и негативных последствий таких конфликтов, создания системы ответственности за их развязывание и ведение. В этом свете рецензируемая монография выглядит особенно актуальной и ценной: она посвящена, по существу, моральным аспектам не столько принятия и институционализации войны в межгосударственных, сколько применения силы в будущих международных отношениях.

Николай Косолатов

Грани глобализации: Трудные вопросы современного развития / С предисл. и послесл. М.С. Горбачева / Международный общественный фонд социально-экономических и политических исследований (Горбачев-Фонд). М.: Альпина Паблишер, 2003. 592 с.

Несмотря на множество работ зарубежных и отечественных авторов по проблемам глобализации, появившихся в последнее время, рецензируемая

Руководитель авторского коллектива — М. С. Горбачев, координатор проекта — В. Б. Кувалдин, ответственный редактор — А. Б. Вебер, авторы: А. Г. Арбатов, О. Т. Богомолов, А. А. Галкин, В. И. Данилов-Данильян, Г. Г. Дилигенский, М. В. Ильин, В. М. Коллонтай, Ю. А. Красин, В. Б. Кувалдин, К. С. Лосев, В. А. Медведев, А. Д. Некипелов, А. А. Пикаев, Н. М. Римащевская, В. И. Толстых.

коллективная монография, написанная сотрудниками Горбачев-Фонда, привлекает особое внимание, чему есть свои причины. Прежде всего это — солидное комплексное исследование, авторами которого выступают известные российские экономисты, политологи, историки, философы. В результате в книге нашли отражение самые разные стороны глобализации — от экономических и институциональных до этнодемографических и социокультурных. Кроме того, в ней рассмотрена столь животрепещущая проблема, как самоопределение России в условиях глобализации, а также возможные контуры новой структуры международной безопасности. Наконец, особый интерес представляют оценки, содержащиеся в предисловии и послесловии и принадлежащие Михаилу Горбачеву, который, как инициатор перестройки в Советском Союзе, сам в какой-то мере способствовал бурному развитию процессов глобализации.

Монография состоит из трех частей, подчиненных общей логике рассмотрения разных сторон глобализации: «Грани глобализации», «Глобальные проблемы в контексте глобализации», «Глобализация и Россия». Несмотря на то что ее главы написаны разными авторами, книга производит впечатление единого произведения, позволяя читателю не только увидеть разные аспекты сложного явления, но и представить себе его в целостном виде, во взаимосвязи всех его составляющих.

Остановлюсь на наиболее важных и дискуссионных проблемах, обсуждаемых авторами монографии. Одна из них касается неизбежности и необратимости процессов глобализации. Это в самом деле ключевой вопрос, поскольку от ответа на него зависят перспективы мирового развития, будущий характер международных отношений и эволюция типов социально-политических конфликтов. Виктор Кувалдин, полемизируя с широко распространенной точкой зрения о необратимости и строго поступательном развитии глобализации, отмечает: «Если вспомнить о великих колониальных империях — британской, французской и других, — развалившихся в середине [прошлого] века, то напрашивается предположение, что и политическая глобализация движется по синусоиде. Можно сколько угодно твердить, что глобализация необратима, что ей нет альтернативы. Исторический опыт свидетельствует, что при желании альтернатива всегда появится. В том числе и глобализации» (с. 40—41).

Я полагаю, что действительно есть серьезные основания сомневаться в линейном характере и безальтернативности глобализации. Так, многие историки и экономисты, например Имманьюэл Валлерстайн и Лев Синцеров, отмечали, что на рубеже XIX—XX веков степень интегрированности мировой экономики была гораздо выше, чем в середине XX столетия; затем на рубеже XX—XXI веков экономическая интеграция и глобализация вновь резко возросли. Не говорит ли это о том, что и в будущем возможны новые спады и подъемы глобализации как в экономике, так и в

политике? Тем более что, по мнению Олега Богомолова и Александра Некипелова, современная глобальная экономика весьма уязвима и чревата масштабной дестабилизацией: «Высокая степень экономической взаимозависимости стран, гигантские нерегулируемые перетоки горячих спекулятивных капиталов сделали глобальную экономику уязвимой. И финансовый крах в Юго-Восточной Азии, а затем и бразильский, и аргентинский кризисы подтвердили реальность угрозы разрушительной цепной реакции. Перед мировым сообществом встал вопрос: как ослабить уязвимость национальных экономик, проистекающую из их возрастающей взаимозависимости?» (с. 121).

Очевидно, что в начале XXI века мировая экономика вступила в новую фазу развития, ознаменованную кризисными явлениями в экономике США и ряда других стран. Основные международные экономические (Международный валютный фонд) и политические (ООН) организации демонстрируют свою низкую эффективность. Возникла необходимость создания нового международного экономического и политического порядка, но пока что идет скорее слом прежнего, а не формирование чего-то нового. Богомолов и Некипелов упоминают подготовленный в рамках Программы развития ООН «Доклад о развитии человека» за 1999 год, в котором предлагалось учредить в рамках ООН Совет экономической безопасности, ставился вопрос о Мировом центральном банке, призванном заниматься глобальным макрорегулированием валютно-финансовых отношений, а также обсуждалась идея мировой антимонопольной службы для контроля за соблюдением кодекса поведения ТНК, мировой службы по охране окружающей среды и т. п. (с. 144). Однако за прошедшие с тех пор несколько лет для реализации этих и других проектов почти ничего не было сделано; более того, встал вопрос о дееспособности самой ООН как ведущей международной организации. По-видимому, только грядущее углубление кризисных явлений в мировой экономике и политике может подтолкнуть политические элиты и лидеров ведущих стран мира к более интенсивным поискам основ нового, более справедливого и эффективного мирового порядка. Однако просто ждать, пока политические элиты созреют до понимания необходимости коренным образом реформировать мировой порядок, вряд ли продуктивно, поэтому постановка авторами монографии острых проблем глобальной экономики и политики представляется полезной и весьма своевременной.

Сказанное в значительной мере относится и к содержательной главе Михаила Ильина «Политическая глобализация: институциональные изменения». В ней по-новому поставлены многие проблемы политического развития, обозначена сложная архитектура формирующегося мирового политического порядка и одновременно подвергнут критической оценке опыт XX века, трактуемый как «эволюционная пауза» (с. 201—211). Мето-

дологическое кредо Ильина выражено в следующем пассаже: «Ни одна новая историческая эпоха не становится полной противоположностью предшествующей. В череде эпох новые формы организации не сменяют, а дополняют прежние. Они возникают *не вместо*, а *вместе* с прежними, существенно их при этом трансформируя и видоизменяя. Появляющиеся в ходе развития новые тенденции не замещают предшествующие общественные формы как “стадии” общественной эволюции, а сосуществуют, углубляя комплексность общества и природу социальной структуры» (с. 199).

На этом основании Ильин оценивает процессы глобализации не как абсолютно беспрецедентные и возникшие как бы «из ничего», а как подспудно существовавшие длительное время, но вышедшие на передний план именно в современную эпоху. Еще полтора века назад, напоминает Ильин, Карл Маркс и Фридрих Энгельс в «Манифесте коммунистической партии» описали многое из того, что сейчас рассматривают как «уникальные» достижения современной глобализации. «Как видим, задолго до нашего времени люди стали все больше осознавать исчезновение границ между государствами и территориями, “сжатие” времени и пространства, однако до подлинного их исчезновения и тогда, и теперь было и остается еще очень далеко. Но и тогда, и сейчас речь шла и идет не о фантазиях, а о действительных процессах. Они начались века назад, но получают определенность и значимость в наши дни» (с. 200).

Весьма содержательна и неординарна у Ильина характеристика мирового политического развития в XX веке. «Двадцатый век показал, — пишет он, — насколько велико и одновременно опасно *искушение ускоренного развития*, стремление одним большим скачком преодолеть разрыв между странами, сделавшими экономический рост принципом своего существования, и теми, кто с вожделием следит за успехами начатой Западом почти пять столетий назад модернизации... Таким образом, первый урок можно в обобщенном виде представить как невозможность “обмануть” мировое развитие — будь то перепрыгиванием через этапы развития, будь то поисками обходных путей в уповании на свою исключительность, будь то попытками найти свою нишу благочестия в ожидании гибели всего остального мира. С первым уроком непосредственно связан второй. Он заключается в признании бесперспективности и опасности полных и окончательных решений... Политические режимы тотального репрессирования сродни режимам тотального контроля или тотальной же политкорректности — извинительным, а то и благим в глазах общественного мнения, как правило претендующего на тотальную безошибочность. А раз так, то не может ли самая высокая справедливость, самое страстное желание осчастливить обездоленных, защитить пострадавших, утвердить права меньшинств, покарать их угнетателей и врагов — всюду, всех и на-

всегда — обернуться еще большей несправедливостью при тотальном или даже тоталитарном подходе? История XX века свидетельствует, что величайшие бедствия явились результатом упований на тотальное благо» (с. 211—213).

Но по той же логике Ильина («ни одна новая историческая эпоха не становится полной противоположностью предшествующей») XXI век возникает из века XX и несет на себе груз его проблем и противоречий. И действительно, мы видим, что XXI столетие началось достаточно драматично и, увы, с повторения в новых формах тех ошибок XX века, о которых пишет Ильин. Поэтому не вполне обоснованными кажутся его надежды на создание «глобальной политической организации», «эффективной политической глобализации», «самодостраивающейся и самонастраивающейся структуры» мирового политического устройства, используя «бесценный опыт политиков-реформаторов, помноженный на знания исследователей долгосрочных тенденций политического развития» (с. 248). К сожалению, мировая практика свидетельствует о том, что большинство политических решений в современном мире принимается без учета ошибок и уроков прошлого, без учета долгосрочных тенденций политического развития. Но это никак не обесценивает усилий ученых и общественных деятелей, стремящихся изменить ситуацию к лучшему.

Пожалуй, самое большое воздействие на мировое экономическое и политическое развитие в XXI веке, а значит, и на процессы глобализации будут оказывать глобальный экологический кризис, а также глобальные социодемографические и этнодемографические сдвиги. Несмотря на то что при поверхностном взгляде экология, экономика и политика выглядят обособленными сферами, в реальности они глубоко взаимосвязаны: экономический рост и политическое развитие за счет уничтожения природной среды не могут быть признаны здоровым явлением и неминуемо приведут к деградации человека и общества. Теснейшая взаимосвязь экономических, политических и экологических проблем в современных условиях подробно описана, например, в книге Ульриха Бека «Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию». Авторы же главы «Глобальный экологический вызов: теоретический анализ и возможные сценарии» известные отечественные экологи Виктор Данилов-Данильян и Ким Лосев занимают несколько иную позицию. Хотя они и пишут о взаимосвязи экологии со многими другими областями человеческой жизни, по существу, оба исходят из того, что главная цель человечества в том, чтобы решить чисто экологические проблемы, а все остальное лишь средство для их решения. Они, в частности, пишут: «...для ответа на экологический вызов требуется столь существенная перестройка всех экономических, социальных, политических, ценностных и иных структур, что если она будет своевременно осуществлена, то тем самым будут гарантированы ответы и на все остальные вызовы, явленные человечеству в ре-

зультате его собственного развития» (с. 252). Иными словами, давайте заниматься экологией, а все остальное приложится.

Но главная проблема в том как раз и состоит, что многочисленные призывы решать глобальные экологические проблемы, стоящие перед человечеством, как правило, почти ни к чему не ведут, поскольку экономика, политика, социальная сфера, культура для подавляющего большинства людей — это не *средство* для выхода из экологического кризиса, а *самоцель*. В известном смысле вопрос следовало бы поставить иначе: без решения экологических проблем не может быть устойчивой экономики, здорового общества, политики, ориентированной на интересы большинства людей, и полноценной «высокой» культуры для многих — такой, какой она была, например, в Древней Греции или в Европе эпохи Возрождения. Разумеется, как справедливо пишут авторы, «основным вызовом в XXI веке будет экологический» (там же), но от частого повторения этого тезиса вряд ли что-то изменится: люди по-прежнему будут руководствоваться своими ближайшими, сиюминутными целями и жертвовать остатками природной среды для своего экономического или политического преуспевания. Необходимо показать, как именно экономическое благополучие и политическая стабильность общества зависят от решения экологических проблем, какие технологические, экономические, политические, социальные и культурно-ценностные сдвиги, происходящие в современном мире, могут способствовать смягчению глобального экологического кризиса хотя бы в перспективе. Вместо этого авторы ограничиваются постановкой ряда вопросов: о воздействии экологической проблематики на развитие экономики; об отношении религий и культур к экологии и мерам, предлагаемым для решения экологических проблем; о восприятии экологических проблем человеком и их влиянии на социальное поведение, о взаимосвязи экологии и проблем безопасности, о взаимодействии экологии и политики, на чем и заканчивают свою главу (с. 286—287). Но эти вопросы и являются главными, о которых стоило бы писать подробно и в первую очередь! Авторы же, формулируя их, дают «домашнее задание заинтересованному читателю», которое неизвестно кто и когда будет делать.

Крайне важны для современного мира глобальные демографические сдвиги, рассмотренные Натальей Римашевской. Она справедливо указывает, что демографическим аспектам глобализации до сих пор уделялось недостаточное внимание. Между тем демографические изменения прямо влияют на процессы экономической, политической, информационной глобализации, где-то способствуя ей, а где-то чрезвычайно обостряя ее последствия. Более того, по расчетам демографов и специалистов по росту населения на земном шаре, человечество уже вступило в весьма сложный переходный период, связанный с продолжающимся бурным ростом численности населения в развивающихся странах и вместе с тем с посте-

пенным изменением динамики роста населения на планете. Этот переходный период, который, по расчетам демографов, продлится до середины XXI века, чреват существенной дестабилизацией мирового порядка, ломкой социокультурных стереотипов и общим обострением внешних и внутренних конфликтов. Массовая миграция из развивающихся стран в развитые сама по себе обладает мощным конфликтогенным потенциалом, а различные попытки оградиться от законной и незаконной миграции недостаточно эффективны. Более плодотворными были бы усилия развитых стран по стабилизации экономической и демографической ситуации в наименее благополучных странах. По-видимому, в этой сфере нужны согласованные действия всего мирового сообщества, которых пока нет и которые почти даже не обсуждаются.

Не менее остры и актуальны проблемы изменения культуры и внутреннего мира человека в связи с процессами глобализации, рассмотренные Германом Дилигенским в главе «Человек перед лицом глобальных процессов» (одна из последних работ крупного российского ученого, умершего в 2002 году). Под натиском мощных информационных потоков, деформирующих традиционную культуру, традиционные социальные общности и образ жизни, человек как бы теряет себя, возникает кризис идентичности, происходит фрагментация и атомизация общества. «Эту ситуацию, — писал Дилигенский, — можно также определить как кризис человеческой социальности и ее институционального каркаса. Вовлекаясь в глобальные функциональные связи и взаимозависимости, современные общества одновременно все более фрагментируются изнутри, все более мельчают или вовсе исчезают макросоциальные ансамбли, способные объединять людей общими жизненными смыслами» (с. 358). Стратегии преодоления кризиса идентичности — от космополитизма «без берегов» до крайних форм национализма и религиозного фундаментализма — не выглядят убедительными и скорее порождают новые, еще более острые проблемы и противоречия. Вывод, который делает Дилигенский, звучит как напутствие века двадцатого веку двадцать первому: «Все эти разнородные явления обнаруживают проблему, которую обостряет, но пока не решает глобализация, — проблему неадекватности существующих форм институциональной социальности, ее нормативно-ценностной основы меняющемуся статусу индивида, тем возрастающим требованиям к его самостоятельности и ответственности, которые предъявляет современная жизнь. Возможно, поиск новых форм социальности, смысла жизни людей в обществе станет решающей проблемой человека в XXI столетии» (с. 359).

Двойственное впечатление оставляет глава «Самоопределение России в глобализирующемся мире», написанная Вадимом Медведевым, Юрием Красиным и Александром Галкиным. С одной стороны, авторы трезво и объективно оценивают положение России в современном мире, отмечая

серьезные трудности и опасности в ее развитии. Реалистично выглядит и краткое резюме, которое они делают в конце главы: «В предвидимом будущем, вероятнее всего, в стране утвердится умеренная авторитарная власть, будет взят курс на прорыв к социально ориентированной постиндустриальной экономике при одновременном восстановлении оборонного потенциала. На этой основе Россия сможет утвердить свое место одной из великих держав мирового сообщества, сыграть свою роль в решении глобальных проблем и установлении более справедливого и разумного мирового порядка» (с. 512). С другой стороны, свои ожидания подобного развития события авторы связывают не с новой правящей российской элитой, которой, по их мнению, присущи антидемократизм, снобизм, недостаток культуры, низкий уровень нравственности и т. п., и даже не с обществом, в котором отсутствуют четко выраженные групповые интересы, а прежде всего с фигурой действующего президента Владимира Путина. При этом остается непоясненным вопрос, на какие же слои и социальные группы может опираться в осуществлении своего политического курса Путин и каким образом при подобных качествах правящей элиты он сможет достичь тех целей, о которых пишут авторы. Очевидно, что даже самый выдающийся политический лидер, действующий в рамках «умеренной авторитарной власти», должен все же опираться на достаточно широкую поддержку своих действий — в противном случае он будет вынужден либо отказаться от своего курса, либо установить не умеренный, а весьма жесткий авторитарный режим. Думаю, что социальные группы, на которые может опираться российский президент при проведении своего курса, ориентированного на экономическую и политическую модернизацию, в российском обществе все же есть: это прежде всего средние слои, которые не принадлежат к правящей элите, но заинтересованы в модернизации и стабильном экономическом развитии. Другой вопрос, сможет ли Путин воспользоваться поддержкой этих слоев и групп в борьбе, которая идет внутри российской правящей элиты, и хватит ли у тех терпения дожидаться результатов модернизации, которая пока что или вообще не происходит, или идет черепашими темпами.

В главе Алексея Арбатова и Александра Пикаева «Проблемы новой структуры международной безопасности и Россия» очерчены контуры новой международной ситуации, сложившейся в мире на рубеже XX—XXI веков. Одна из ее особенностей, по мнению авторов, в наметившемся после событий 11 сентября 2001-го отчетливом сдвиге приоритетов США в Азию. Другая важная тенденция — политическое и военное укрепление Европейского союза. В этих условиях перед Россией возникают серьезные проблемы, вынуждающие ее идти на многостороннее сотрудничество как с США, так и с ЕС. Однако такое сотрудничество, считают Арбатов и Пикаев, в ближайшее десятилетие не гарантировано. «Выбор России, —

пишут они, — может оказать ключевое влияние на создание новой конфигурации мировой политики. Хотя Москва, по-видимому, сделала искренний и долгосрочный выбор в пользу Запада, этот выбор не выглядит необратимым. Основным препятствием здесь является неготовность Запада институционно закрепить новый характер отношений с Россией и попытки низвести ее роль с положения младшего партнера до позиций государства-помощника, не имеющего права на отстаивание своих интересов. Не менее серьезной проблемой остается неспособность Запада стать источником модернизации высокотехнологических отраслей российской экономики, а также пойти на серьезную кооперацию в оборонной промышленности» (с. 547).

Наконец, особо следует остановиться на предисловии и послесловии к книге, написанных Михаилом Горбачевым, который в общем и целом интегрирует и обобщает идеи, высказанные авторами книги. В предисловии содержится довольно критическая оценка последствий и рисков современной глобализации, сделан вывод о неоправданности многих надежд, возлагавшихся на нее. Горбачев, в частности, пишет: «На выходе из “холодной войны” мы рассчитывали, что высвободившиеся в результате прекращения гонки вооружений ресурсы пойдут на то, чтобы помочь менее развитым странам преодолеть свою отсталость и тем самым попытаться хотя бы сократить пропасть между Севером и Югом. Но этого не случилось: разрыв в уровнях развития между богатыми и бедными странами стал увеличиваться в ускоряющемся темпе» (с. 12). Вместе с тем, с точки зрения Горбачева, необходимо различать глобализацию как объективное явление, обусловленное в первую очередь технологической революцией, и неолиберальный глобализм как политику, выгодную в основном США и другим государствам «семерки» (с. 13). Но здесь возникает важный вопрос о критериях такого разграничения: в конкретных ситуациях не так-то легко понять, где заканчивается одно и начинается другое. Дело в том, что политика неолиберального глобализма нередко используется как своего рода «таран» для продвижения глобализации, а сама глобализация, как объективный процесс, создает основу для распространения идеологии и политики неолиберального глобализма. В итоге неолиберальной и опасно односторонней становится не только политика глобализма, но и сама глобализация, и разделить их оказывается практически невозможно.

Учитывая это, Горбачев высказывается более определенно: «Глобализация — объективная данность, глобализация “по-американски” — это недалновидная и в конечном счете ошибочная политика, которая бумерангом бьет по самой Америке и опасна для всего мира. Корпоративные скандалы и банкротства в США — новое тому подтверждение. Неолиберальная глобализация деформирует международные экономические отношения: одни наживаются на спекулятивных сделках и пускаются в противозаконные махинации, другие несут

огромные потери в результате потрясений на фондовых биржах, обесценения национальных валют и бегства капитала» (с. 14—15). Кое-кто может здесь усмотреть «антиамериканские настроения» автора, но скорее всего мы имеем дело с весьма трезвой констатацией фактов. Как ни парадоксально это звучит, сами США также страдают от некоторых последствий неолиберальной глобализации, основным проводником которой они и выступают: спекулятивные сделки и махинации, перенесение большей части промышленного производства за пределы США, международный терроризм и международная преступность, нарастание экономической и политической нестабильности в мире, расползание ядерного и других видов оружия массового уничтожения — вот далеко не полный список проблем и угроз, с которыми сталкиваются и будут сталкиваться США в XXI веке. Поэтому весьма актуально звучит предупреждение Горбачева: «Потребуется, возможно, создание каких-то новых наднациональных структур, способных предвидеть, контролировать и решать критические проблемы развития планеты. Если мы не поймем этого и не сделаем соответствующих выводов, то могут реализоваться самые мрачные сценарии “столкновения цивилизаций”. В этом смысле мировое сообщество находится на очень ответственном рубеже. От выбора, который сделают политики, зависит будущее мира в ближайшие десятилетия» (с. 19).

В послесловии Горбачев критикует лидеров мировой политики, многие действия которых не соответствуют императивам новой эпохи, и выдвигает идею мировой политики, основанной на знании: «Сегодня все чаще говорят об экономике, основанной на знаниях. Тем более уместно ожидать появления мировой *политики*, основанной на знании, на *предостерегающем знании*, а не на эгоистических интересах, близоруких представлениях и уповании на силу. Опыт показывает: при наличии доброй воли самые опасные тенденции можно блокировать и можно открыть путь позитивным процессам» (с. 554). Подобная идея кому-то покажется утопичной, но, если вдуматься, знание в мировой политике действительно играет все большую роль. Вопрос лишь в том, как именно будет употреблено это знание: для манипулирования людьми или для подлинного решения обостряющихся глобальных проблем. По мнению Горбачева, сейчас чрезвычайно остро стоит вопрос о *цене* политических действий и решений, поскольку неверные действия политиков в условиях глобализации могут обернуться тягчайшими последствиями: «Что бы мы ни взяли — ядерную ли угрозу, демографические проблемы, надвигающуюся экологическую катастрофу, нехватку жизненно важных ресурсов, экономические противоречия, этнические конфликты и т. д., — ни одну из этих глобальных проблем нельзя решить, не считаясь с ценой и не разбираясь в средствах. Идти напролом — значит накликать катастрофу» (с. 555). Полагаю, что к этим словам стоит прислушаться, и не только политикам, но и всем мыслящим людям.

Владимир Пантин

Г. Г. Дилигенский. Люди среднего класса. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2002. 285 с.

Крупные изменения, происходящие в российском обществе, заставляют задуматься о вероятных перспективах современного трансформационного процесса: куда идет Россия? куда она в принципе могла бы идти? куда она при сохранении нынешних тенденций, скорее всего, придет? Это также и вопрос об *акторах* как важном социальном ресурсе и движущей силе преобразований. Ведь элиты, вводя новые формально-правовые нормы, сами по себе способны лишь стимулировать движение в том или ином направлении. Для действительного же изменения общественных практик, а вместе с ними и институциональной системы общества необходимо участие более массовых общественных групп. Одна из таких групп — *средний класс*, исторически выступающий главным проводником и стабилизатором прогрессивных социально-экономических и политических преобразований.

Этой теме посвящен рецензируемый труд — последняя книга крупного российского ученого, специалиста в области социальной психологии и политической социологии Германа Дилигенского, ушедшего от нас в июне 2002 года. Она представляет собой оригинальное, а в некоторых отношениях даже уникальное исследование, основанное на материалах углубленных интервью с различными представителями городских средних слоев современного российского общества. Ценность книги состоит в том, что она позволяет судить о конкретных проблемах и противоречиях, связанных с формированием среднего класса в постсоветской России. Автор взглянул на этот процесс прежде всего через призму судеб, мыслей, чувств и действий конкретных людей, которые по объективным критериям (размеры доходов, социальное положение, уровень образования и квалификации) могут быть отнесены к среднему классу или сами себя к нему относят.

В реформируемом российском обществе образ западного среднего класса стал «символом новой веры», а его складывание — необходимым компонентом либеральных преобразований. Так, Егор Гайдар назвал формирование среднего класса *уникальной* проблемой российской модернизации, придавая ей столь же большое значение, сколь и утверждению легитимности частной собственности (см. с. 11). Со своей стороны Дилигенский, предостерегая от идеологизации (нередко в самом упрощенном виде) образа среднего класса, справедливо указывает на три обстоятельства, без учета которых нельзя обоснованно судить о его потенциальной и реальной роли в современной российской действительности.

Во-первых, сознание и поведение средних слоев обусловлено не их «срединным» положением, как таковым, а влияющими на него процесса-

ми в экономике и обществе. В современных западных странах средний класс действительно выступает гарантом стабильности существующей институциональной системы, но он выполняет эту функцию постольку, поскольку данная система, в свою очередь, также защищает его интересы. Если же влияние внешней среды негативно, стабилизирующая роль среднего класса подвергается серьезным испытаниям (с. 10—11, 26).

Во-вторых, средний класс не представляет собой целостного, монолитного социального образования, которому можно было бы приписать единые стандарты ментальности и поведения (с. 10, 26, 166). В любом западном учебнике социологии говорится о гетерогенности — статусной, культурной, социально-психологической — этого класса, в частности о его подразделении на «старый» (предпринимательский) и «новый» (слой наемных работников умственного труда). Так что «между американским или французским лавочником и университетским профессором сходства не намного больше, чем между представителями различных средних слоев в России» (с. 26).

В-третьих, безоговорочное применение «западных» критериев стратификации к современному российскому обществу само по себе проблематично. Эти критерии были разработаны для обществ с устоявшейся и относительно стабильной институциональной системой, с более или менее общепризнанными нормативными принципами, определяющими позиции индивидов в социальной иерархии (с. 26, 27). В связи с этим автор не раз подчеркивает условность, метафоричность используемого им понятия «средний класс», что, разумеется, не делает неправомерной постановку самой задачи: понять людей, по каким-то признакам идентифицируемых или идентифицирующих себя со «средней» частью общества (с. 272).

Для уяснения хода и перспектив трансформации российского общества наибольший интерес представляет качество среднего класса, или средних слоев, как *социального актора*. Свое внимание к этой стороне проблемы Дилигенский объясняет крайней слабостью, если не полным отсутствием в современной России *макросоциальных* — технико-экономических, институциональных, культурных и прочих — рычагов модернизации, вследствие чего индивидуальные действия и воля оказываются решающими факторами, способными предотвратить полное замораживание модернизационного процесса: именно в них — главный «*модернизационный шанс*» страны (с. 43—46).

Каковы же ценностные ориентации и интересы средних слоев в современной России, какие модели поведения им присущи, по каким правилам они играют, каков их деятельностный потенциал (реализованный и нереализованный, инновационный и традиционный, модернизационный и консервативный)? И в чем, собственно, состоит вклад индивидов в

модернизационный процесс, каким образом они могут влиять на социальные изменения?

Для осмысления роли акторов автор обращается к стремительно развивающейся в последние годы структурно-деятельностной парадигме. Причем наиболее удачной теорией, видящей в социальном изменении процесс слияния структурных свойств и свойств акторов, он считает теорию «социального становления» Петра Штомпки (*П. Штомпка. Социология социальных изменений. М., 1996*). Выбор структурно-деятельностной парадигмы представляется важным теоретико-методологическим достоинством работы, однако необходимо отметить, что интерпретационные возможности данной парадигмы значительно шире, чем те, которые можно обнаружить в теории Штомпки. В его методологической конструкции акторы выступают неким *однородным* уровнем социальной реальности, единым субъектом. Между тем в действительности имеют место *разные группы акторов*, различающиеся объемом ресурсов (потенциальных и реализуемых), положением, интересами и, как следствие, играющие неодинаковую роль в трансформационном процессе (см. *Т.И. Заславская. Социетальная трансформация российского общества: Деятельностно-структурная концепция. М.: Дело, 2002*). По существу, именно в рамках такой, более широкой, методологии работает далее Дилигенский, когда ставит вопрос о среднем классе как социальном акторе, равно как и о характере его социальных взаимодействий — вертикальных и горизонтальных (с. 190—191).

Что для индивидов функционально означает принадлежность к среднему классу и как сказывается она на их качествах социальных акторов? Поиск ответа на эти вопросы находится в центре внимания автора на протяжении всей книги и, несомненно, составляет одно из самых важных и ценных направлений исследования.

Материалы глубинных интервью об индивидуальной самоидентификации свидетельствуют по меньшей мере о трех вещах. Во-первых, общественное сознание успешно осваивает «стратификационный» принцип социальной структуры (с. 78—79). Во-вторых, разные индивиды существенно различаются в зависимости от того, по каким признакам они относят себя к среднему классу (у одних во главу угла поставлены объективные, статусные критерии, например доход, его стабильность и гарантированность, имущественное положение; у других — ценностно-деятельностные, такие, как возможность творческой самореализации, самостоятельного выбора (с. 66—80). В-третьих, вертикальная статусная стратификация (независимо от того, принимается она или отвергается) для разных индивидов имеет разное мотивационное значение. Так, для людей, ориентированных на творчество, единственно значимой социальной иерархией нередко является иерархия «по таланту» («решать интересные задачи

ки», как заметил один из респондентов-физиков, и о чем-то большем в профессиональной карьере он не мечтает) (с. 81–82).

Какие же функции выполняет идентификация со средним классом в современной России? Для большей части россиян, которые относят себя к средней части социального пространства, в то время как их реальный материальный и социальный статус далек от «средней планки», подобная идентификация — важный фактор социального самочувствия и социальной терпимости. Судя по данным Бюро экономического анализа, эта группа весьма велика: по критерию самоидентификации к среднему классу относят себя до 60 проц. населения, в то время как по совокупности признаков, позволяющих выделить реальный протосредний класс, его доля не превышает 25 процентов (с. 59). Значит, самоотнесением к средним позициям в обществе индивид утверждает «себя в сознании, что ему удалось избежать худшего — опуститься в ряды бедных, обездоленных, не способных прокормить себя и семью» (с. 93). Впрочем, самоотнесение к средним слоям может выражать и совершенно иной тип социального самочувствия, а именно удовлетворенность реальным содержанием жизни, которая обладает позитивным личностным смыслом, несмотря на материальные лишения и ограничения. Однако важно заметить, что как в первом, так и во втором случае самоотнесение к тому или иному вертикальному слою или классу играет довольно ограниченную роль в индивидуальном самосознании, оно актуализируется лишь в ходе опроса и не выступает организующим ориентиром мотивов, ценностей и поведенческих установок индивидов (с. 94).

Вторая функция самоотнесения со средним классом отвечает актуальной потребности активных и сильных социальных групп в *легитимации собственной социальной ситуации и практики* (с. 96). В этом случае самоотнесение к среднему классу становится предметом активной рефлексии человека (с. 94–97). Бизнесмены, представители властных структур, менеджеры частных, приватизированных или государственных предприятий, журналисты, руководители коммерческих медицинских и учебных заведений нового типа — все эти специалисты, вышедшие на рынок в условиях его весьма слабой легитимации в массовом сознании, нуждаются в категориях и понятиях, «способных символизировать легитимность и позитивное социальное значение (функциональность) их роли и места в обществе... а также легитимность получаемого за эту деятельность вознаграждения» (с. 97).

Ценностные и поведенческие характеристики современных средних слоев в значительной степени определяются источниками их формирования. Одним из таких источников стали различные группы «старого» советского протосреднего класса, представители которых, не меняя своей профессии, индивидуально или в составе своих трудовых коллективов

(коммерциализация организаций, предприятий, профессий, например, в здравоохранении и образовании или сохранение высокого материального и социального статуса в рамках старых «некоммерческих» профессий, как у части государственных служащих) вовлекаются в структуры рыночной экономики. Другой источник — профессиональные участники рыночных отношений (предприниматели, самозанятые, менеджеры и рядовые работники частных предприятий). Эти «новые» средние слои составляют пока относительно малую часть реального и потенциального среднего класса (с. 148—149). Однако и «старые», и «новые» группы находятся в центре внимания автора: каждому из них посвящена отдельная глава.

Для осмысления реальной и потенциальной роли среднего класса (точнее, слоев) в современном трансформационном процессе первостепенного внимания, на мой взгляд, заслуживают следующие результаты проведенного Дилигенским исследования.

(1) Несмотря на большие различия между отдельными группами среднего класса в ценностно-деятельностном отношении, их позициям присуще и определенное сходство. Оно выражается прежде всего в позитивном восприятии *социетальных* перемен, то есть перехода к более свободному обществу, открывающему людям больше возможностей для реализации важнейших, в представлении этих групп, индивидуальных ценностей — самостоятельного выбора и самореализации. «Высокий уровень жизненной активности, деятельная натура, сила личности — таковы, очевидно, типологические психологические черты представителей нового российского среднего класса» (с. 172). В их мотивации выделяются две основные тенденции: *прагматически-инструменталистская*, соответствующая «классическим» целям агентов рынка (получение и наращивание дохода), и *творчески-инновационная*, выражающаяся в том, что самореализация личности, развертывание ее творческих способностей, знаний и культурного потенциала в профессиональной деятельности определяют личностный смысл, который человек придает своей работе (с. 183). Автор подчеркивает важную для понимания особенностей формирования российского среднего класса деталь: часть творчески и инновационно ориентированных профессионалов, целиком интегрированных в рыночную экономику, руководствуются в своей деятельности отнюдь не рыночными мотивами. Одной и той же жизненной стратегией они решают и задачу адаптации (бегство от бедности), и проблему личностной самореализации (с. 170—173). Многие из них измеряют жизненный успех не деньгами, а реализацией потенциала личности. Последнее характерно и для части «старого» советского протосреднего класса (врачи, учителя, научная интеллигенция).

У одних людей отчетливо доминирует прагматически-инструменталистская мотивация, у других — творчески-инновационная, у третьих — эти

тенденции сочетаются в тех или иных пропорциях (сказываются индивидуальные психологические особенности, а также конкретная жизненная ситуация, семейное и материальное положение, возраст и т. п.) (с. 183). Для осмысления потенциальной роли среднего класса в трансформационном процессе важно верифицировать эти чрезвычайно интересные наблюдения автора в ходе дальнейших репрезентативных социологических исследований.

В принципе обе тенденции работают на рыночную трансформацию и модернизационный процесс. «Первая формирует относительно массовый слой профессионалов, готовых осуществлять социальные практики, соответствующие принципам цивилизованного рынка, такие, как индивидуальная ответственность, меритократия, максимальная мобилизация физических и интеллектуальных ресурсов, профессионализм» (с. 185). К важным факторам развития рыночных структур относится также появление слоя мелких предпринимателей с идеотипическими чертами «экономического человека», особенно среди младшего поколения россиян, и потенциальное расширение этого слоя по мере смены поколений (с. 160, 161).

Вторая из названных тенденций, опирающаяся на культурные традиции и культурный потенциал российского социума, ведет к формированию специфического творческого инновационного слоя агентов рынка, потенциально способного сыграть особо активную роль в модернизационном процессе (с. 185).

(2) Идеино-политические ориентации представителей среднего класса еще окончательно не сложились: «...в каждом индивидуальном случае мы встречаем своеобразный комплекс либеральных и «государственнических», демократических, элитарных и авторитарных представлений» (с. 225). И хотя политические ориентации средних слоев локализуются в основном в право-центристском пространстве, но и в его пределах их выбор отличается неуверенностью, неустойчивостью, слабой связью с какими-либо социально-групповыми интересами, невозможностью выбора «своей» партии (с. 226—227). Несмотря на позитивное восприятие *вектора* перемен, разных представителей среднего класса глубоко не удовлетворяют их конкретные *результаты*. Подобная амбивалентность ведет к тому, что «такие люди и группы не образуют ни оппозиции, ни базы поддержки институтов власти или, что примерно то же самое, представляют собой одновременно и то и другое» (с. 227).

(3) Несмотря на понимание важности коллективных действий, у большинства представителей среднего класса отсутствует стремление к самоорганизации, даже для защиты своих собственных интересов. Этим они практически не отличаются от основной части россиян, которым, как известно, присущи асоциальный синдром, отсутствие культуры совместно-

го действия. В этом смысле люди среднего класса представляют собой не столько *реальных*, сколько *потенциальных* социальных акторов (с. 245—248). Активность и инициативность людей среднего класса чаще всего ограничивается рамками их профессиональной деятельности и индивидуальной адаптации к новым условиям. Так, ученые «борются своим трудом за право заниматься любимым делом, но никому из них... не приходит в голову идея, что нужно как-то защищать интересы науки на макросоциальной или политической арене» (с. 140). Низкую способность к ассоциированию и самоорганизации демонстрируют и мелкие предприниматели, большинство которых не расположены к объединению во имя защиты общих интересов, а существующие в России объединения склонны оценивать как неэффективные, «номенклатурные» и т. д. (с. 165). И это несмотря на то, что «атомизация малого бизнеса не только мешает ему отстаивать перед лицом власти свое право на существование и развитие, но и лишает его важнейшего ресурса эффективной и инновационной экономической деятельности» (с. 166).

На общественной пассивности россиян сказываются и особо тяжкие условия повседневной жизни и труда основной массы населения, и отсутствие культуры общественной деятельности, и неверие в результативность коллективных действий, и комплекс социальной слабости людей по отношению к силам, господствующим в обществе (с. 244—247), и определенная отчужденность от макроуровня (с. 270).

(4) Потенциальная и реальная активность людей среднего класса направлена преимущественно на отстаивание локальных, низовых интересов, а не на какие-либо социетальные преобразования (с. 234, 248). «И у элитных, и у неэлитных слоев преобладает своего рода “островное” сознание: действительность, которую они стремятся преобразовать, не выходит за рамки границ, определяемых их непосредственными статусными возможностями» (с. 271); из сферы их воздействия фактически выпадают институты власти, социетальный уровень управления обществом, где прелят бал бюрократия и олигархические группировки (с. 278).

Как видно, вслед за Никосом Музелисом автор исходит из того, что именно социальное движение есть та форма, «посредством которой рядовые, не имеющие высоких иерархических позиций индивиды *только* (курсив мой. — М.Ш.) и могут осуществлять структурные изменения на макросоциальном уровне» (с. 192). Спору нет, движение российского общества к более свободному будет тем глубже и необратимей, чем более массовыми и устойчивыми станут общественные движения и другие гражданские структуры, которые, защищая права рядовых социальных групп, способны действовать вопреки властям и могут на них воздействовать даже в тех случаях, когда это противоречит интересам представителей властных структур. Вместе с тем необходимо заметить, что в трансфор-

мации *социальных практик* (а через их посредство и институциональной структуры общества) участвуют акторы *всех* уровней: и макро-, и мезо-, и микроуровня. Причем последние это делают не только через социальные движения, но и через кумулятивный эффект индивидуальных поведенческих стратегий, которые вне всякой связи с социальными движениями могут сказываться (и сказываются) на характере макросоциальных изменений, в том числе и нежелательных (например, распространение и институционализация неправовых социальных практик).

Сам автор совершенно справедливо указал на ту большую роль, которую самодетерминации индивидов играют в процессах, воспроизводящих и трансформирующих общество (с. 273), на тот модернизационный эффект, который дает успешная адаптация представителей среднего класса к новым условиям. Этот эффект, именуемый *модернизацией человека*, заключается «в становлении типа личности, ориентированной на индивидуальную самостоятельность, на свободное самоопределение в социальном пространстве, на ответственность за собственную судьбу» (с. 274). Но ведь именно такие люди и способны сыграть решающую роль в распространении и институционализации провозглашенных в ходе реформ прав и правил игры, которые по природе своей предполагают стремление людей к независимым и самостоятельным социальным действиям, и тем самым внести важный вклад в *социальную* трансформацию российского общества. Правда, и впредь — при сохранении нынешней слабости гражданских структур — только от власти будет зависеть, пойдет ли она на диалог с обществом или нет. А на вопрос «Что такое демократия в России?» юморист, как и ныне, будет давать ответ: «Это когда все зависит от главного демократа».

Многообразие и глубина поднятых автором вопросов позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на быстрый расцвет исследований среднего класса и средних слоев в России, всплеск которых, правда, приходится на весьма короткий промежуток времени (4—5 лет), и несмотря на, казалось бы, почти полную невозможность в этих условиях внести в тему что-то свое, Дилигенский написал интересную и оригинальную книгу. Материалы углубленных интервью, на которых он базировал свое исследование, имеют самостоятельную ценность. Они в одних случаях позволили опровергнуть «стройные и вполне банальные либеральные концепции» и уловить противоречивость современного сознания людей среднего класса, в других — помогли воссоздать целостный портрет разных средних слоев. В любом случае они наводят на более серьезные размышления над психологической природой и структурой взглядов и представлений, выявленных в ходе репрезентативных исследований, к которым автор, где это было возможно, обращался. Кроме того, спонтанные ответы людей на вопросы, не содержащие каких-либо подсказок, дали возможность получить более верное отражение их взглядов.

Все сказанное выше позволяет заключить, что рецензируемая книга вносит важный вклад в неослабевающие дискуссии о среднем классе в России, способствуя выдвижению новых гипотез и стимулируя научный поиск в этой области. Тем более что исследование Германа Дилигенского не только о среднем классе — оно намного шире: в нем он осмысливает теоретические подходы, которые позволят более глубоко понять закономерности постсоциалистических трансформационных процессов.

Марина Шабанова

Ларри Зидентоп. Демократия в Европе / Пер. с англ.; Под ред. В.Л. Иноземцева / Центр исследований постиндустриального общества; журнал «Свободная мысль». М.: Логос, 2001. XLVII + 312 с.

Давая название научной работе, ее автор, как правило, формулирует в лапидарной форме основную тему своего труда. Поэтому, открывая книгу оксфордского профессора-политолога и историка политических учений Ларри Зидентопа «Демократия в Европе», ее читатель ожидает увидеть исследование возникновения и развития европейской демократии, ее истории, особенностей, национальных специфик, состояния политических институтов и т. д. Однако при более близком знакомстве с работой обнаруживается, что, хотя эти сюжеты и присутствуют в ней, посвящена она все же совершенно иной теме. Чтобы более адекватно охарактеризовать ее, в названии книги явно не хватает ключевого слова — «перспективы». Основная тема исследования Зидентопа — не история и не нынешнее состояние европейской демократии, а именно ее будущее в свете происходящих сегодня процессов экономической и политической интеграции Европы, становления общеевропейского «сверхгосударства».

Рецензируемая книга относится к числу тех работ, обозреть которые интересно и в то же время сложно. Дискуссионность многих авторских суждений, глубокий, в чем-то философский подход к практической политике строительства единой Европы, исключительное многообразие поднимаемых в этом контексте теоретических проблем, связанных с такими дилеммами, как государство и личность, федеративность и автономия, демократия и рынок, интеграция и мультикультурализм, политика и экономика, конституционализм и прагматизм и многое другое, — все это делает исследование заметным явлением современной зарубежной политологии. Но эта же широта тематики не позволяет охватить ее всю в короткой рецензии. Поэтому ограничусь изложением и обсуждением, на мой взгляд, главной мысли автора, обоснованию которой подчинено все содержание книги.

По убеждению Зидентопа, Западная Европа, поставив себе целью строительство общеевропейской суперфедерации, уже почти полтора десятилетия, то есть со времени принятия Единого европейского акта и заключения Маастрихтского и Амстердамского договоров, все глубже втягивается в кризис «демократической легитимности». Хотя европейская интеграция стала во многих отношениях свершившимся фактом, вопрос о политической форме, которую примет в конечном итоге Европейский союз, не только остается открытым, но и, как считает автор, даже не дебатруется. Ускорение процессов европейской интеграции не сопровождается необходимым публичным обсуждением характера политического проекта единой Европы и его конституционных импликаций для стран-участниц. Европейцы, ступив на путь, ведущий к новому государственному образованию, плохо представляют себе, на каком этапе этого пути они находятся, кто конкретно определяет движение по нему и каковы суть и конечная цель реализуемого проекта. В отсутствие такого понимания и согласованного представления европейцев о желаемом и необходимом распределении полномочий между Брюсселем и национальными государствами или же региональными структурами власти единая Европа остается не более чем некой «элитной авантюрой».

Между тем ценнейшую лепту в конкретизацию самого проекта создания европейского федеративного государства и в реалистическую оценку возможности и условий осуществления такого проекта способен внести, по мнению автора, опыт американского федерализма. Поэтому концепции американского федерализма и истории его функционирования отведено так много места на страницах работы, посвященной европейским проблемам. Именно конструкция федерализма, выработанная более двухсот лет назад на заседаниях Конвента в Филадельфии и предлагаемая Зидентопом в качестве эталонной модели построения многосоставного государства в масштабах европейского континента, служит той призмой, сквозь которую в книге рассматриваются многие проблемы, требующие решения при строительстве единой Европы. И именно в свете уроков американского федерализма автор размышляет о перспективах европейской интеграции и опасностях, подстерегающих демократию в рамках нового «сверхгосударства».

Сегодня, пишет Зидентоп, важнейший вопрос может быть сформулирован достаточно просто: «...должно ли европейское объединение... пройти через более или менее деспотическую фазу, в которой, несмотря на красивые жесты в сторону представительства и подотчетности, управлять Европой будет центральная бюрократия, причем политический контроль обеспечат, если вообще обеспечат, одна или две самые могущественные страны-участницы» (с. 23). В отличие от тех, кто считает такую деспотическую фазу необходимой для достижения широкого политического объ-

единения Европы, способного принести европейцам блага, автор убежден, что гражданское общество на европейском континенте достигло того уровня, когда дальнейшая интеграция уже не нуждается в деспотической фазе, аналогичной периоду создания национальных государств. Вместе с тем, исходя из своего понимания факторов, обеспечивших успех американского федерализма, он высказывает мнение, что в Европе отсутствуют важные предпосылки, способные гарантировать от угрозы неограниченной централизации власти со всеми ее мрачными последствиями.

Одна из существенных проблем сегодняшней Европы, осложняющая успешное воспроизводство американской модели интеграции — это, по Зидентопу, отсутствие тех неформальных, культурных условий, которые способствовали успеху американского федерализма. Чрезвычайно важно в этом смысле то, что Европа далека от необходимого для интеграции общественного консенсуса, который базировался бы на культурной однородности. Несмотря на всю риторику европеизма, «Европа никогда еще не была столь разделена национальными культурами, как сегодня» (с. 163).

Не меньшее значение имеет и дефицит открытого *общеευропейского* политического класса. Автор полагает, что судьба континента в значительной мере зависит от того, будут ли преодолены различия между национальными политическими классами (в первую очередь между французским, британским и германским), которым свойственно пока совершенно разное понимание сущности европейской интеграции, и если будут, то когда и на какой основе. Если создание общеευропейского политического класса окажется невозможным, будущее Европы, убежден Зидентоп, приобретет тревожные очертания. При отсутствии такого политического класса «демократия в Европе станет лишь ширмой для централизованного бюрократического правления или, что еще хуже, для основанной на плебисцитах потенциально демагогической политической системы» (с. 161).

Автор не склонен соглашаться с категоричным суждением тех евро-скептиков, которые считают, что создание политического класса в европейском масштабе невозможно в принципе из-за отсутствия «европейского народа, европейского языка, европейского общественного мнения и единых европейских норм подотчетности государства гражданам». По его мнению, сама европейская история дает, как минимум, один поучительный пример, опровергающий такой огульный скептицизм, — существование в Европе на протяжении многих столетий единой «транснациональной элиты» в лице средневекового христианского духовенства до того, как оно было расколото Реформацией (с. 161).

Отмечая, что Европа сталкивается с особыми трудностями в формировании единого политического класса, Зидентоп подчеркивает и другой аспект этой проблемы: будущее европейской интеграции зависит не толь-

ко от того, возникнет или нет общеевропейский политический класс, но и от того, *каким* он будет. Вероятность возобладания в европейском процессе подхода к государственной власти, свойственного французскому политическому классу, пугает автора не меньше, чем отсутствие единой позиции национальных политических классов Европы.

Посвятив немало страниц своего исследования описанию особенностей французской модели государственного устройства с ее «упором на власть, а не на полномочия», Зидентоп считает эту модель «наименее пригодной для развития в Европе культуры согласия» (с. 133, 136). Между тем именно эта бюрократическая модель государства, констатирует он, доминирует на сегодняшний день в проекте устройства Европы, создавая угрозу «превращения Брюсселя и Европейского союза в убежище дирижистских подходов и предпочтений» (с. 177). Подобный сценарий таит в себе, по мнению автора, реальную опасность обострения общественных и межнациональных конфликтов, усиливает опасность европейской дезинтеграции. Если «федеративная» Европа, создаваемая на основе «старой, нерформированной французской государственной модели», будет лишь прикрывать «произвол неподотчетных элит», ее перспективы окажутся «более мрачными, чем когда-либо после 1945 года». «В этом случае, — считает Зидентоп, — европейская идея станет разделяющим, а не объединяющим фактором. Она разделит нации на враждующие лагеря или даже восставит их друг против друга» (с. 179).

Чтобы предотвратить эти опасности и обеспечить создание демократической Европы, требуется ряд преобразований. Во-первых, необходима дальнейшая демократизация национальных политических классов Европы через реформы существующих государственных структур, которые бы расширяли участие граждан в принятии решений на местном и региональном уровнях и тем самым создавали условия, позволяющие реально изменить состав национальных политических классов. Во-вторых, для создания подлинно европейского политического класса чрезвычайно важно юридически закрепить английский в качестве второго языка в странах Европы. Неоднократно возвращаясь к этому вопросу, Зидентоп говорит о невозможности сформировать культурную однородность континента без общеевропейского языка. «Без такой лексической общности, гарантирующей однозначность понимания и согласованность толкования терминологии, — утверждает он, — существующие в Европе противоречия могут развиваться в хроническое и даже взрывоопасное взаимное недоверие» (с. 181).

Наряду с этими «косвенными мерами» должны быть осуществлены и две прямые реформы. Особенно важным и необходимым с точки зрения придания структуре институтов ЕС заверщенного характера автор считает создание Европейского сената. По его мнению, верхняя палата Евро-

парламента должна стать связующим звеном между сохраняющими демократическую легитимность национальными политическими классами и Брюсселем, где принимаются политические решения. Юрисдикция Европейского сената могла бы быть использована для одновременного достижения двух целей. Во-первых, его существование позволило бы более надежно защитить национальные государства внутри ЕС от централизации власти и засилья брюссельской бюрократии. Во-вторых, это способствовало бы дальнейшему рассредоточению власти в национальных государствах, так чтобы региональная автономия стала фактором укрепления демократических идеалов и приближения национальных правительств к своим народам. Тем самым, полагает Зидентоп, Европейский сенат, защищая национальную автономию и поощряя рассредоточение власти в национальных государствах, мог бы «сыграть важную роль в создании того политического класса, в котором столь нуждается Европа, — открытого, нетерпимого к бюрократии и чуткого к требованиям различных социальных групп и слоев» (с. 184—185). Второй конкретной мерой, которая крайне необходима для формирования в Европе политической культуры, основанной на уважении прав, автор считает усиление роли юристов в политической системе.

Во всех этих преобразованиях Зидентоп видит необходимую предпосылку решения сложной, требующей больших усилий и длительного времени задачи слияния воедино существующих политических классов. Каждое из поставленных условий успеха европейского федерализма реализуется весьма медленно. Поэтому, подчеркивает автор, «строительство демократии в Европе потребует скорее десятилетий, а не лет; можно даже предположить, что для решения этой задачи понадобятся усилия поколений» (с. 186). Проводя же политику «излишне быстрой интеграции», европейские элиты «рискуют подтвердить подозрения общественности о том, что они представляют только самих себя, что создают единую Европу прежде всего в интересах административной и политической верхушки, нанося ущерб самобытности отдельных наций и традиционным гражданским устоям» (с. 273).

Опасность такого курса на ускоренную интеграцию заключается, по мнению Зидентопа, в том, что он может невольно усилить явления, прямо противоположные либеральной демократии, — националистическую ксенофобию и экономическую автаркию. Именно эти тенденции могут активизироваться, например, в случае мирового экономического кризиса или же возникновения серьезных экономических неурядиц, связанных с введением единой европейской валюты. Не менее тревожным последствием «поспешной политической интеграции, превращающей федерализм в фасад унитарного сверхгосударства» может стать и то, что под угрозой окажутся сложные структуры европейских обществ. Эти структуры скла-

дывались в рамках отдельных национальных государств, каждое из которых имело свою особую политическую культуру. И совсем не очевидно, что они смогут «выжить после того, как государства будут неожиданно подчинены централизованному нормотворческому органу, проводящему политику унификации» (с. 287). В результате, предупреждает автор, Европа может внезапно лишиться значительной части своей истории или же сохранит лишь порожденные этой историей проблемы в виде пережитков социальной розни, но без исконного европейского преимущества — плюрализма.

Завершается работа довольно категоричным тезисом: «Федерализм — это верная цель для Европы. Но пока Европа не готова к федерализму» (с. 288). И в свете изложенных выше размышлений Зидентопа этот заключительный пассаж выглядит вполне правомерным. Между тем и логика рассуждений, и предложенные в книге интерпретации процесса европейской интеграции, которые подводят к такому выводу, выглядят отнюдь не бесспорными. Специалисты по проблемам современной европейской политики, очевидно, найдут в работе немало уязвимых позиций, упрощений и даже неточностей. Некоторые из них заслуживают упоминания.

При несомненной правомерности тревог относительно будущего европейской демократии немалые сомнения вызывает, на мой взгляд, общее понимание автором нынешнего процесса европейского объединения как процесса, ориентированного на формирование жесткой централизованной федерации и потому несущего в себе угрозу «бюрократического деспотизма» и трансформирования Европейского союза в некую централизованную «тиранию». Многие компетентные наблюдатели предпочитают говорить о ЕС не как о некоем «государстве» в традиционном смысле этого слова, а скорее как о своеобразной «политии эпохи постмодернити», характеризующейся многоуровневой системой власти, в которой ЕС управляет наряду с национальными правительствами, а не вместо них. При таком понимании, представляющемся мне более адекватным не только нынешним европейским реалиям, но и вообще реалиям современного глобализирующегося мира, процессы, происходящие в Европе, символизируют скорее не централизацию, а консолидацию национальных государственных образований и добровольное принятие ими на себя гораздо менее жестких, чем в рамках федеративного устройства, схем участия и обязательств.

Подобное построение существенным образом отличается от федеративного, а понятие «Соединенные Штаты Европы», иногда фигурирующее в политическом лексиконе для его обозначения, не более чем метафора. С этой точки зрения весьма дискуссионной, если не сказать излишне прямолинейной, выглядит оценка Зидентопом процессов европейской интеграции сквозь призму принципов и опыта американского федерализ-

ма. Дело не только в том, что механическое приложение социологических и философских принципов, соответствовавших американским реалиям двухсотлетней давности, к совершенно иным в историческом, социально-политическом и культурном смысле реалиям современной Европы чревато упрощениями, но и в том, что в таком случае задачи нынешней европейской интеграции оказываются, по сути дела, тождественными задачам, стоявшим перед делегатами Конвента в Филадельфии. А ведь те были обусловлены необходимостью заменить, как пишет автор, сотрясаемую разного рода кризисами «рыхлую конфедерацию» тринадцати штатов государственным образованием с сильной центральной властью.

Довольно спорной выглядит и интерпретация автором истории «европейского проекта» как преимущественно французского и потому реализующего ориентацию Франции на политическое доминирование в Европе и распространение французской административной модели государства на весь европейский континент. В подобной трактовке оказывается недооцененным вклад Германии и Великобритании в проект европейской интеграции и явно принижено влияние на него германского и британского политического класса. Между тем нынешняя конструкция Европейского союза возникла все же в результате ряда прагматических ответов на вызовы экономической и геополитической взаимозависимости, совместно найденных тремя крупнейшими западно-европейскими государствами (Франция, Германия, Великобритания) и в той или иной степени отражающих специфику подходов и решений, выдвигавшихся каждым из них.

Излишне категоричным кажется и утверждение Зидентопа о безразличии европейцев к обсуждению сущности и целей европейской интеграции. Говорить об отсутствии в Европе дебатов вокруг конституирования новых отношений между национальными государствами — значит игнорировать всю ту огромную массу серьезных политологических и журналистских публикаций последнего десятилетия, посвященных этим проблемам, оставлять без внимания острые столкновения мнений по этим проблемам между европейскими политиками самого разного уровня, не говоря уже о прошедших в ряде европейских стран референдумах по Маастрихтскому договору, которые сопровождались активной общественной полемикой.

Однако если учесть, что сам Ларри Зидентоп в предисловии к рецензируемой работе называет ее «книгой размышлений», цель которой состоит в том, чтобы активизировать дискуссию по проблеме европейской интеграции и вызвать желание спорить на эту тему, то надо признать: поставленную перед собой задачу он, безусловно, выполнил.

Григорий Вайнштейн

Марк Лапицкий. Деятельный без принуждения: (Трудовая этика в разных измерениях). М.: Издательский дом «Новый век», 2002. 232 с.

Исторический опыт разных народов мира свидетельствует: чем больше расхождение между моралью и трудовой деятельностью, тем чаще хозяйственная практика приводит к разрушительным последствиям, а временные успехи нередко оборачиваются катастрофами. Ведь такие категории, как «труд», «хозяйственная деятельность», «собственность», «богатство», — не только экономические, но и нравственные, мировоззренческие. Неудивительно, что их роль в жизни человека оценивается весьма неоднозначно.

Трудовая этика представляет собой одну из самых острых проблем для нашей страны. Она существует не сама по себе, а является важной составной частью общих представлений, норм общественного поведения, умонастроения, миропонимания и неразрывно связана с тем, что называют материальной жизнью общества. По этике труда и его организации можно судить о благополучии или упадке той или иной нации, о ее здоровье или нездоровье. Не случайно, что даже в самых благополучных в экономическом отношении странах трудовой этике уделяют первостепенное внимание.

Этику труда можно исследовать с самых разных сторон — с точки зрения экономики, истории, социологии, политики, философии, религии, культуры. Между тем в нашей отечественной литературе отражение получила только проблема «этика труда и экономика», да и то лишь отчасти. И это при том, что на протяжении фактически всей истории России этика труда, мягко говоря, не была нашей сильной стороной.

Но все же были и есть исследователи, которые занимались данной проблемой: Александр Неусыхин и Дмитрий Петрушевский в 20-е годы, Юрий Давыдов, Альберт Кравченко, Наталья Зарубина, а также некоторые другие в наше время. В работах 20-х затрагиваются вопросы трудовой этики по большей части в связи с трудами Макса Вебера, и прежде всего его классической работой «Протестантская этика и дух капитализма». В отличие от ученых тех лет Давыдов, Кравченко и некоторые другие рассматривали трудовую этику с позиций социологии, а не истории либо культуры. Стало быть, поле исследования для историков и культурологов в этой области остается открытым и работы на этой ниве непочатый край.

Рецензируемая книга Марка Лапицкого призвана в какой-то мере восполнить существующий пробел. Этика труда рассматривается в ней не только в историко-культурном плане, но и под экономическим, политическим и психологическим углом зрения. Получает в ней развитие и тема, насколько мне известно, вообще не поднимавшаяся в отечественной литературе, — «трудовая этика в системе общеэтических ценностей».

Цель своего исследования автор определил достаточно ясно: заполнить лакуны в освещении исторических, социокультурных, включая рели-

гиозные, оснований трудовой деятельности. Этому, собственно, и посвящена основная часть книги. Задача автора состояла в выделении трудовой этики в самостоятельную проблему, выведении ее за рамки традиционной экономической мысли, причем не абстрагируясь от последней полностью.

Среди множества определений трудовой этики Лапицкий выбирает, наверное, самое емкое и лаконичное: «внеэкономические мотивы трудовой активности» (с. 4). Удачным представляется и название книги — «Деятельный без принуждения»; оно передает саму суть понятия, о котором идет речь.

Первые разделы работы убедительно показывают, что трудовая этика, отношение к труду принадлежат к фундаментальным основам любого общества, составляют неотъемлемую часть общего культурного достояния нации, формируют ее характер. Этика, в том числе и трудовая, выступает в качестве одного из побудительных мотивов в становлении общественно-политических процессов, при формировании правительств, при создании институциональной среды, способствующей развитию хозяйственной деятельности, рыночных отношений. В этой связи автор в доступной, порой даже увлекательной форме рассматривает влиятельные теоретические концепции Алексиса де Токвиля, Макса Вебера, Сергея Булгакова, Эйбрахама Маслоу, Эриха Фромма, Федора Степуна и некоторых других мыслителей прошлого.

Трудовая этика во многом отражает жизненные установки общества, и поэтому ее реконструкция существенно важна для понимания духовного климата того или иного социума в тот или иной момент его истории. С исторической точки зрения важно проследить развитие, видоизменение этики, связанное прежде всего с национально-культурной и профессиональной принадлежностью людей. В книге Лапицкого такая эволюция прослежена как более или менее единый исторический процесс — от принудительного, неуважаемого, презираемого труда (наряду с которым, однако, уже в древние времена складывалось представление об общественно-полезном, достойном, благородном физическом труде) до глубоких, принципиально важных перемен в отношении к труду и связанному с этим человеческому достоинству его носителей в наше время.

Исторические этапы развития автономной экономической личности автор изображает примерно так: Древний мир — Средневековье — Возрождение — Реформация — Просвещение и далее через века и страны к нашему времени. На протяжении тысячелетий труд заполнял практически все существование человека и уже поэтому нуждался в осмыслении и сакральном обосновании.

Крайне медленный технический прогресс — характерная черта древневосточного общества. Причина подобной застойности заключалась в самой организации труда, консервативности, косности государственно-

го аппарата, следившего за выполнением традиционных работ традиционными же методами. Автор показывает неоднозначный характер труда в Древней Греции и Древнем Риме. Известно немало пренебрежительных высказываний Аристотеля, Платона и других мыслителей античности о физическом труде. В ту эпоху особо почитался труд поэтов, музыкантов, философов. Вместе с тем в литературе того времени можно встретить и возвышенную похвалу в адрес земледельца. Римская ментальность сформировалась еще до близкого знакомства с греческой культурой, выработав этические концепции труда, весьма близкие греческому нравственному идеалу. Идеал трудолюбивого, добросовестного, предприимчивого человека сохранялся в римском обществе вплоть до первого века Империи. И великие достижения античной цивилизации были не в последнюю очередь связаны именно с этим идеалом.

С христианством пришло понимание радости труда. В христианском мире труд начал ассоциироваться со смыслообразующим элементом, с наслаждением. И в Средние века, как показано в книге, труд оценивался не только «как проклятие, как первородный грех». Одновременно признавалась его общественная значимость, и он даже понимался как спасительное испытание. Но все же в полной мере труд был реабилитирован уже в эпоху Возрождения.

Просвещение и Новое время принесли западному человеку признание его политических, экономических, правовых и религиозных свобод, которые стали его естественным правом. Хозяйство, экономика формировали в то время человека как экономически активного субъекта. В XVI—XVIII веках отношение к труду постепенно эволюционировало в сторону его все более высокой оценки.

Представляет интерес и специальный раздел, посвященный трудовой этике и европейской социальной утопии, в том числе народной утопии Нового времени, рождавшейся из противоречий позднефеодального и раннебуржуазного обществ. Идеалы народной утопии возникали как некая антитеза существующего порядка вещей в обществе. К сожалению, в книге рассмотрены не все периоды, в том числе и относящиеся к новейшему времени (хотя они и намечены), когда были сформулированы новые концепции нравственного смысла труда, его индивидуальной и общественной ценности.

Одна из центральных и, на мой взгляд, наиболее удачных глав посвящена религиозным основам труда и хозяйственной деятельности. Исследуя отношение той или иной религии (в книге это индуизм, буддизм, конфуцианство, зороастризм, иудаизм, христианство, ислам) к трудовой активности, автор акцентирует внимание читателя не столько на различиях, сколько на сходствах. Как бы ни были значительны различия (о них в работе сказано немало), общего между религиями гораздо больше. Ведь

все они без исключения содержат в себе учение о нравственных добродетелях и имеют, по существу, одну и ту же формальную структуру. Во всех религиозных системах так или иначе присутствуют такие категории, как «Бог», «священство», «жертва», «поклонение», «молитва», и все они объявляют ценностью истину, доброту, любовь, существование абсолютного нравственного закона. Различны лишь акценты, которые каждая религия расставляет, обращаясь к той или иной категории.

На многочисленных примерах в книге показано, как религии самым причудливым образом оказывают воздействие на ход хозяйственной жизни и как, с другой стороны, жизненные потребности влияют на религии, внося свои коррективы в религиозное толкование священных заповедей. Так, например, Римско-католическая церковь под давлением широко распространившейся практики перестала порицать взимание ссудных процентов. Навстречу потребителям двигались также ислам и некоторые другие религии. И пусть за последнее время процесс секуляризации заметно ускорился, труд все еще не утратил своего сакрального значения, а религиозная обусловленность жизненного поведения продолжает оставаться одной из детерминант хозяйственной этики.

«Собрание пестрых глав», составивших раздел о религии и труде, было призвано прежде всего доказать, что каждая крупная религиозная система не может не содержать в себе хотя бы крупицу рационального, прагматического, зародыш здравого смысла, какой бы возвышенной, «не от мира сего» она ни казалась на первый взгляд. Совершая любые действия и поступки, истинно верующий всегда ощущает связь небесного и земного, потустороннего и посюстороннего, вольно или невольно питая надежду на вознаграждение за праведную жизнь и опасаясь воздаяния за прегрешения. Трудолюбие, прилежание, добросовестность, хозяйское отношение к делу, с его точки зрения, немаловажные слагаемые, определяющие дальнейшую судьбу человека в загробном мире или ином воплощении, — поэтому верующий не может не придавать значения этой стороне жизни.

Лапичкий убедительно показывает, что при всей несхожести традиционных религий ни одна из них не отвращает человека от труда, от экономической деятельности, ибо нет религий с полным отсутствием земного, практического элемента. Просто в некоторых из них этот элемент проявляется отчетливее и яснее. Даже те религии, которые видят истину в полной отрешенности от «внешнего мира» с его страстями и заботами (буддизм, индуизм, джайнизм), признают, что такой путь предначертан лишь немногим. Обращенная внутрь себя, созерцательная жизнь этих избранных возможна лишь при поддержке их существования большинством людей, погрязших в земном, «тленном».

Специфика российской трудовой этики рассмотрена автором в разделе «Труд в России и вокруг него». Разноплановые очерки, посвященные и

теме «Русское православие и хозяйственная деятельность», и вкладу Сергея Булгакова в исследование «философии хозяйства», и сравнительной характеристике русского и американского фольклора, и восприятию русской жизни французскими путешественниками, и образу «немца» в русской литературе, а также другим сюжетам, объединяет одна сквозная тема: трудовая этика в разных контекстах российской жизни. Не претендуя на полноту охвата столь сложной и необъятной проблемы, Лапицкий ограничился показом ее отдельных особенностей. Написанные в духе научной публицистики, легко и раскованно, эти очерки побуждают к размышлению на злободневные темы: какие факторы воздействуют на формирование деловой культуры? что в российской культуре и социальной психологии приемлет дух капитализма и что ему противится? почему буржуазный тип личности не укоренился в России? почему у нас сложилось именно такое, а не иное отношение к труду?.. Почему? Почему? Почему?..

Отечественные и зарубежные исследователи отвечают на эти вопросы по-разному. Одни видят причину низкого уровня отечественной трудовой этики в семидесятилетнем существовании советской власти, отучившей людей работать. Другие, наоборот, утверждают, что именно в советское время люди наконец начали трудиться «по-настоящему». Третьи полагают, что на Руси хорошо не трудились ни до, ни во время, ни после советской власти.

Истоки специфического отношения россиян к труду разные исследователи также видят в разном. Для одних они в природно-климатических условиях, для других — «во власти пространств над русской душой», для третьих — в бесконечной чехарде «смутных времен» и нестабильности политического положения, для четвертых — в многовековом татаро-монгольском рабстве. Аргументация сторонников каждой из этих версий (а многие исследователи «русского труда» выдвигают не одну, а несколько из них, а то и все разом) достаточно убедительна, хотя и контраргументы чаще всего выглядят не менее весомо, что может служить доказательством небесспорности как аргументов, так и контраргументов.

Некоторые современные специалисты напрямую связывают наше отношение к труду и хозяйствованию с православием, причем делают из этого противоположные выводы в полном соответствии с характерным российским максимализмом. Для одних иоаннитский духовный тип восточной ветви православия, восходящей к «апостолу любви» Иоанну, служит важным подспорьем для доказательства «святости» русского труда. Иные, напротив, возлагают на православие вину за «отлучение» русского человека от рационального, качественного труда. Автор склонен нашу привычку к некачественному труду, его низкую производительность, леность, бесхозяйственность, неуважение к чужому труду и т. д. объяснять причинами, лежащими за пределами православия.

Жаль, что в главе, посвященной «русскому труду», не рассмотрена роль старообрядцев в экономической жизни России. Между тем многое в дореволюционной жизни страны нельзя понять, не приняв во внимание старообрядчество, его мировоззрение, психологию, культуру, наконец, активную практическую деятельность его адептов. Некоторые исследователи подчеркивают именно старообрядческую основу развития российского дореволюционного капитализма.

В завершение хочу отметить, что автор не упрощает находящиеся в центре его внимания непростые проблемы, но вместе с тем и не усложняет их, что делает работу полезной как для студентов и преподавателей, так и для читателей с широкими гуманитарными интересами. Из книги они могут получить внятные и квалифицированные ответы на вопросы о трудовой этике — не только «как?», «где?», «когда?», «кто?», но и в большинстве случаев «почему?».

Марк Лапицкий представил на суд читателей, бесспорно, очень нужное и актуальное исследование, особенно учитывая тот печальный факт, что трудовая и деловая этика в нашей стране до сих пор оставляет желать лучшего.

Алексей Давыдов

Ольга Маховская. Соблазн эмиграции, или Женщинам, отлетающим в Париж: Психологические эссе. М.: Per Se — ПЕР СЭ, 2003. 144 с.

Тот, кому довелось побывать в духовном центре русской эмиграции в Париже — кафедральном Свято-Алекса́ндро-Невском соборе на рю Дарю, мог обратить внимание на висящую во дворе доску объявлений, плотно, в несколько слоев, оклеенную бумажными листками с отчаянными предложениями своих услуг: преподавание русского, английского и других языков, уход за детьми и стариками, выгул собак, уборка и ремонт квартир, медицинские процедуры, массаж... Нередко один и тот же человек соглашается на все из перечисленных работ за более чем умеренную плату или за предоставленный угол и возможность столоваться. В подавляющем большинстве эти объявления оставляют молодые (от 20 до 40 лет) женщины, покинувшие Россию, Украину или Белоруссию в последние годы. Среди них немалый процент составляют высокообразованные специалисты, кандидаты наук, прежде работавшие в академических институтах и университетах.

Что побудило всех их оставить родину, своих близких, друзей, привычную работу и в конечном счете оказаться на этой и других самостоятельных «биржах труда» в Париже?

Среди наших бывших соотечественниц много и тех, кто оказался во Франции (в США, Германии, Англии и т. д.) благодаря удачному, как представлялось им всем, замужеству. Этим женщинам в России откровенно завидуют, и многие россиянки продолжают активно искать «заморского принца».

При всем при том никто до самого последнего времени всерьез не интересовался тем, как живут эти благополучные русские женщины, с какими проблемами сталкиваются, какова их судьба там, на благословенном Западе. И уж совсем ничего мы не знаем об их детях, как вывезенных из России от прежнего брака, так и о родившихся уже во Франции (или в другой зарубежной стране).

Лишь недавние громкие скандалы с Натальей Захаровой, Лолитой Гармин и Марией Уайт, лишенных во Франции и США собственных детей, а также история 20-летней Анастасии Соловьевой, убитой в Сиэтле своим американским мужем, привлекли к этой теме внимание широкой общест-венности.

Впрочем, мои слова об отсутствии интереса к проблеме современной женской эмиграции, принявшей у нас чуть ли не массовый характер, не следует понимать буквально. Три с половиной года назад я случайно познакомился в Париже с научным сотрудником Института психологии РАН Ольгой Маховской, которая в качестве стипендиата Дидро работала над исследовательским проектом «Пути социализации детей российских эмигрантов во Франции». Тема меня заинтересовала, тем более что в то время одна из моих аспиранток занималась изучением социальной и культурной адаптации русских эмигрантов первой волны во Франции. Правда, она изучала эмиграцию как историк, а не как психолог, и к тому же раннюю, а не современную.

Маховская активно интервьюировала своих «героинь» и их детей (ею обработано более 100 интервью), посещала учебные заведения и русские церковно-приходские школы в Париже, беседовала с директорами, преподавателями и священниками, организовывала «круглые столы» и другие обсуждения с участием французских специалистов. Последним неутомимый московский психолог во многом открыла глаза на таинственный феномен «беспроблемной» российской эмиграции.

Наверное, Ольге Маховской в ходе ее исследований во Франции приходилось сталкиваться и с мнением о надуманности самой проблемы женской и тем более детской адаптации в эмиграции. Как правило, такое мнение высказывают более или менее преуспевшие на «второй родине» россияне либо те, кто не желает быть искренним. Добровольным изгнанникам, даже если они живут лишь на социальные пособия, психологически трудно (даже невозможно) признаться в своей несостоятельности, особенно перед теми, кто остался в России. «Для эмигранта важно сохранить

миф о своем успехе здесь, тот миф, на который он сам купился» (из интервью, взятого Маховской в Париже, с. 50).

Результаты своих изысканий, обогащенные американским материалом, который был собран в 2001—2002 годах в ходе научной командировки в США, Маховская представляет в рецензируемой книге, написанной в форме изящных психологических эссе, а не в привычном для научного работника тяжеловесном формате монографии.

Следует отметить, что это — первое в научной литературе исследование, посвященное психологической адаптации российских женщин и их детей в эмиграции. Тем самым Ольга Маховская открывает новое перспективное научное направление. Уже по этой причине ей приходилось совершенно самостоятельно, без оглядки на предшественников (их просто не было) ставить и решать ряд сложных вопросов избранной темы. Выяснить мотивы женской эмиграции, выявить женские культурные типы в эмиграции, понять характер и последствия женского (материнского) поведения в эмиграции, провести сравнительный анализ российской и французской семьи — таковы лишь некоторые из задач исследования.

Читая эту книгу, проникнутую искренним сочувствием к нелегким, подчас драматическим судьбам российских женщин, поддавшихся «соблазну эмиграции», понимаешь, что автора в большей степени волнуют даже не они, а их дети. «Этот разговор, — признаётся Маховская, — в конечном итоге посвящен проблеме ответственности за судьбы детей, которые, находясь в объективной зависимости от своих родителей, могут расплачиваться за их фантазии и неумение построить нормальные отношения с ближайшим окружением. Эмиграция как надежда на то, что все проблемы решатся разом, относится к числу такого рода фантазий» (с. 8).

«Эта история, эта книга вообще, — отмечает она в другом месте, — об ответственности женщин за своих детей. О том, что в самых тяжелых условиях одни находят в себе силы и веру в детей, и это последнее, что они теряют, другие — торгуют, вначале собой, потом детьми» (с. 99).

Кто-то, наверное, может подумать: а какое нам дело до всех этих женщин с их детьми, по собственной воле отправившихся за рубеж в поисках лучшей жизни? В конце концов, у России масса своих проблем: пятимиллионная армия наркоманов (в основном подростки и молодежь), угрожающие признаки распада семьи, сотни тысяч брошенных родителями детей, массовая женская безработица (до 70 проц. российских безработных составляют женщины) и прочие социальные последствия «великих» реформ.

Этот вопрос, безусловно, стоял и перед Маховской, когда она приступала к своему исследованию. И она находит убедительный ответ на возможные сомнения: «Посмотреть, как адаптируются российские семьи в условиях западных стран, — это своего рода социологический трюк, исследовательская уловка, направленная на то, чтобы обогнать время и понять, что делать нам с

нашими детьми здесь в России, в условиях резких и быстрых социальных изменений. В каком-то смысле мы все оказались в эмиграции в своей собственной стране. <...> Эмиграция — это шаржированный образ нас самих, зеркало для социальных процессов и психологических эффектов, в которые погружены мы здесь, но которые трудно отрефлексировать. Эмиграция — это один из “кризисных”, латентных сценариев, в рамках которых живет среднестатистический россиянин» (с. 9–10).

Отмеченная Маховской прямая связь последней волны эмиграции с нынешним состоянием российского общества подтверждается всеми материалами, полученными автором в ходе научных экспедиций во Францию.

Затянувшийся на целое десятилетие структурный кризис охватил экономическую, социальную, культурную и нравственную сферы жизни в России, большинство населения которой, в сущности, люмпенизировано. Безработица, депрофессионализация, постоянная нехватка средств к существованию, невиданный разгул преступности, вызывающий непреходящее чувство тревоги за личную безопасность и за будущее детей, — все это порождает у многих россиян ощущение бесперспективности их жизни в родной стране, побуждает к эмиграции.

Важнейшим фактором современной женской эмиграции Маховская, опираясь на собранный ею материал, считает кризис семьи — последнего пристанища, которое могло бы дать молодой женщине долговременную защиту и поддержку. «Кризис семьи (кризис традиционной для России модели семьи), — замечает автор, — обозначает, что она уже не отвечает запросам воспитания детей и не служит гарантом для реализации взрослых. Отношения в современной российской семье переоцениваются. Но пока домашнее насилие против женщин и детей происходит сплошь и рядом. 15 000 женщин в год избиваются своими мужьями до смерти. Около 25 процентов россиянок оказываются жертвами домашнего насилия. Почти каждый четвертый ребенок рождается вне брака. На сегодняшний день около 50 процентов браков заканчиваются разводами, при этом только 4 процента разведенных отцов принимают участие в воспитании своих детей» (с. 128–129).

Все эти причины, а также понятное желание матерей спасти своих сыновей от службы в армии, где царит дедовщина, и от участия в чеченской войне стимулируют женскую эмиграцию из России.

Но что же происходит с женщинами-эмигрантками и их детьми на новой родине, как они адаптируются в непривычных условиях, с какими новыми проблемами сталкиваются и как их разрешают? Вот в основном вопросы, интересующие автора. За многие месяцы работы в Париже Маховская выслушала, записала и обработала добрую сотню «историй жизни» (*récits de vie*), рассказанных ее собеседницами.

Проведенное исследование показывает, что по меньшей мере половина этих женщин испытывает неудовлетворенность своим положением. Оказалось, что, как и в России, 50 проц. межкультурных браков оканчиваются разводами, что многие россиянки быстро разочаровываются в своих мужьях-французах, что они с их прежним негативным опытом часто не в состоянии адаптироваться в нормальной французской семье, что дети в таких межкультурных семьях нередко дистанцируются от родителей, замыкаются в себе, впадают в депрессию, в своего рода аутизм.

Ответственность за такое положение дел, по мнению автора, не всегда лежит только на женщинах-россиянках, не подготовленных к новой жизни, но также и на их мужьях-французах. Удачным межкультурным браком Маховская считает союзы, где «мужчина, понимая, что его супруге предстоит тяжелый процесс вхождения в культуру, в которой он вырос, будет достаточно терпелив в своем стремлении помогать всем членам семьи». «Несмотря на то, что такая межкультурная композиция является сложной и требует от взрослых членов семей ежедневных настойчивых усилий по формированию единого поля общения, согласованности в поступках... такая среда, — напоминает автор, — является хорошей почвой для развития гуманитарной одаренности у детей, предполагая их высокую эмпатию (способность к вживанию в образ другого человека) и эмоциональную переключаемость. Однако если взрослый не находит сил или средств для управления процессом, не оказывается достаточно влиятельным и предприимчивым, благоприятная среда превращается в хаос и почву для разрушительных конфликтов, психологических девиаций» (с. 80).

«Проживание в эмиграции всегда связано с невротизацией личности, — справедливо отмечает Маховская, — но для одних это дорога в болезнь, депрессию, деморализацию, для других — повод для удвоенной работы, для третьих — выход на новый уровень отношений с самим собой и с окружением» (с. 64).

В книге подробно проанализированы два женских культурных типа в эмиграции — «несчастливая женщина» и эмансипированная женщина-интеллектуалка, — следующие каждая своим жизненным принципам. Но что удивительно, и та, и другая мать в равной мере часто причиняют своему ребенку вред. Если «несчастливая женщина» сообщает ребенку импульс пессимизма и неуверенности в себе, понижая тем самым его шансы на успешное будущее, то женщина-интеллектуалка, нацеленная на скорейшую ассимиляцию и сознательно изолирующая ребенка от «совкового» влияния, лишает его психологической поддержки со стороны окружающих, а своим директивным поведением подавляет его личную инициативу.

Маховская выделяет и описывает четыре стратегии аккультурации эмигранта: ассимиляция, маргинализация, интеграция, сепаратизм. От выбора той или иной из них в решающей степени зависит модель воспи-

тания и образования ребенка, а значит, и его будущее. «Примеры выживания наших за рубежом показывают, — отмечает Маховская, — что наиболее успешными и реализованными оказались те из них, кто не отказался от своего прошлого, а попытался сохранить и использовать его во благо. Примеры эмиграции первой волны и нынешней, постперестроечной, показывают, что русская культура, язык по-прежнему рассматриваются в качестве богатства, потерять которое равносильно потере смысла жизни и своей идентичности» (с. 120).

Автор рассмотрела широкий спектр вопросов, связанных с психологической адаптацией в среде современной женской российской эмиграции во Франции. Ограниченный формат рецензии не позволяет охватить все эти вопросы, каждому из которых автор посвящает отдельное эссе (в книге их полтора десятка).

Размышляя о судьбах женщин-эмигранток и их детей, Маховская не резонерствует и тем более не обличает (даже в скандальной истории с Натальей Захаровой, где автор склонна поддержать французское правосудие, подкрепляя свою позицию убедительными аргументами).

Ее задача — помочь родителям (состоявшимся и потенциальным эмигрантам) ориентироваться в непростых условиях эмиграции. В одном из эссе, посвященном воспитанию детей в экстремальных условиях эмиграции, Маховская признаётся: «Мое исследование путей социализации наших детей в эмиграции с самого начала было заряжено положительной прагматикой — найти удачные примеры и открыть тему эмиграции как нормального жизненного сценария для семей наших граждан» (с. 120).

Но круг заинтересованных читателей рецензируемой книги значительно шире. По большому счету это все женщины, стремящиеся гармонично реализовать себя в ситуации резких социальных изменений. Исследование Маховской будет весьма полезно психологам, педагогам и особенно журналистам, которые, как в случае с Н. Захаровой, не всегда адекватно понимают и комментируют «женский вопрос» в эмиграции.

Есть еще одна категория читателей, которым надлежало бы изучить эту содержательную книгу. Речь идет о российских чиновниках, по долгу службы ведающих вопросами миграций в нашей стране. «Одна из целей этого исследования, — подчеркивает автор, — открыть новую перспективу для иммиграционной политики. Я представляю здесь в каком-то смысле научную оппозицию современной политике в России, а именно тех, кто считает, что разработать новую политику можно только на основании проведения качественного анализа на местах, в российских диаспорах. Отсутствие реальной миграционной политики в современной России автоматически ставит всех мигрантов внутри страны вне закона. В результате в одной только Москве около миллиона нелегалов борются за свое существование» (с. 126–127).

Ольга Маховская написала талантливую и очень своевременную книгу. Будем ждать обещанного автором продолжения с интригующим названием «Электронный роман с Америкой».

Пётр Черкасов

А. С. Панарин. Искушение глобализмом. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 416 с. (История России. Современный взгляд)

Книга лауреата литературной премии Александра Солженицына политолога Александра Панарина посвящена модной ныне теме глобализма. Автор выступает как правоверный антиглобалист. Он воздает хвалу благословенной эпохе модерна, противопоставляя ее глобальной постмодернистской реальности сегодняшнего дня: «...большинство из массовых завоеваний великой эпохи модерна несовместимы с логикой глобализации. В первую очередь это касается священного понятия демократии, или политического суверенитета народа. Демократия означает, что функции власти осуществляют те, кого народ избрал в ходе своего свободного волеизъявления... Ничего общего с этим не имеет политология глобализма. Она предполагает, что настоящие центры власти и принятия решений не считаются с наказами местного избирателя и выражают согласованные стратегии международных трестов — экономических и политических... По мере нарастания тенденций глобализации национальные политические и экономические элиты все меньше прислушиваются к голосу своих избирателей и все больше связывают себя принятыми за спиной народов решениями нового интернационала... Таким образом, формируются двойная мораль и двойной язык. Одни термины, унаследованные от классической либеральной эпохи, теперь выполняют фактически лишь манипулятивную роль, усыпляя гражданскую бдительность народов, другие выстраиваются в параллельный ряд с ними и отражают *новую реальность*, которую от нас считают полезным прятать... Совсем другим сознанием отличалась классическая эпоха Просвещения. Она не знала двойных стандартов и двойной морали, не прятала своих открытий от масс. Напротив, все усилия Просвещения, весь его пафос были направлены на то, чтобы как можно скорее стали доступными для всех достижения просвещенной элиты. Эта благородная открытость Просвещения ныне похоронена жрецами глобализма, выстраивающими свой эзотерический гнозис, тщательно скрываемый от непосвященных. Классическая эпоха дала великих просветителей, современная рождает великих манипуляторов и комбинаторов» (с. 6—7).

Что и говорить, обвинения против вождей нынешнего «золотого миллиарда» выдвинуты серьезные. Только для их формулирования пришлось

слить воедино эпохи модерна, либерализма и Просвещения, что все-таки не одно и то же.

Да и идеи, высказываемые автором, вряд ли можно назвать оригинальными. Подобное можно прочесть, например, у одного из основоположников постмодернизма Энтони Гидденса (см.: *Гидденс Э.* Постмодерн // *Философия истории.* Антология. М.: Аспект-пресс, 1995. С. 340—343). Панарин лишь несколько иначе расставляет акценты и всячески демонизирует постмодерн, глобализм и управляемость нынешней демократии посредством пиар-технологий.

И кто же прячет от нас «эзотерический гнозис глобализма»? Ответ на это дается в разделе с характерным названием «“Пятый пункт” глобализма: евреи в однополярном мире». Тут прямо говорится, что «евреям самой судьбой определено быть “глобалистами”». Сама двусмысленность их положения в качестве личностей, издавна пребывающих на рубеже культур, не до конца натурализованных в среде обитания и не до конца принятых ею, формирует психологию той самой остраненности, которую... мы определили как главную субъективную предпосылку глобализации» (с. 66). По мнению Панарина, «сегодня евреи фанатично возлюбили Америку» (с. 67) и в скором времени должны будут за это расплачиваться: «Авантюристическая ставка на “полную и окончательную” победу США над всем миром угрожает таким срывом, какого еще не было во всей еврейской истории» (с. 96). Что ж, заминированные антисемитские плакаты в России можно, наверное, расценить как начало чаемого «срыва». Только связан ли он с ненавистью к глобализму, или это давняя привычка наших соотечественников искать причину собственных неудач не в самих себе, а в кознях внешних сил и их «внутренней агентуры» — национальных меньшинств?

Какой же путь для России и мира предлагает Панарин? «Евразийский континент призван отстаивать “принцип реальности”, противопоставляя его атлантическому “принципу удовольствия”. Реальность континента — это огромные природные ресурсы и, если брать Индию и Китай, несметные трудовые ресурсы. Что касается России и новых индустриальных государств АТР, то особым экономическим шансом является дешевая, но при этом высокообразованная и квалифицированная рабочая сила. Сочетание гигантского природного и человеческого капитала — вот основа *физической экономики континента*, противостоящей паразитарной экономике глобальных финансовых спекулянтов» (с. 346). Так уж и противостоящей! Именно в том самом качестве, о котором говорит автор, Россия и страны Азии задействованы в диктуемом Западом международном разделении труда, поставляя на рынок топливо, сырье и более простые промышленные изделия: металлы, текстиль, бытовую электронику, суда и т. д. А наиболее талантливые ученые из этих стран проторили дорогу к западным лабораториям и университетам. Зачем же призывать с пафосом к тому, что

давно уже стало реальностью, да еще и представлять этот путь вызовом, бросаемым Западу?

Каким же должен быть в данной связи ответ России и остального мира проклятому глобализму? По Панарину, необходима «интеграция систем Запада и Востока» в качестве предпосылки «глобальных социокультурных революций». Систему Востока он мыслит прежде всего как религиозную, духовную, к производствам и технологиям отношения не имеющую, а живущую «озарениями». Она будто бы единственная сегодня может выполнить роль «внешней инновационной среды» для западной цивилизации. Иначе нам грозит ни много ни мало «глобальная война Запада с не-Западом» (с. 296—297). Но в чем заключается суть «восточной панацеи» от глобальной катастрофы, так и остается непонятным. Панарин предлагает многословное и туманное определение: «Восточная мудрость тем отличается от фаустовского знания-власти (Ф. Бэкон), что она запрещает процедуры изымания вещей из контекста (на этом базируются философия и искусство постмодернизма, который автор считает идеологической основой глобализма. — **Б.С.**), олицетворяющего высшую космическую гармонию, и познание части вне общего целого. Если западная система знания основывается на опережающем развитии инструментальных идей по сравнению с развитием системообразующих универсалий... то восточное знание развивается прямо противоположным образом: здесь забота об общем, системообразующем, явно довлеет над стремлением к знанию-власти или знанию-пользе» (с. 299—300).

Тут возникают два вопроса. Во-первых, что понимать под восточной мудростью: есть ли это мудрость Конфуция, Достоевского, Панарина, бен Ладена, Саддама Хусейна, Ким Ир Сена и многих других, вместе взятых? Если же нет, то что делать с той мудростью, которая не вписывается в эту схему? Переводя философские категории на язык геополитики, что должна предпринять Россия: вместе с Западом бороться с теми же бен Ладеном и Саддамом Хусейном, сохранять нейтралитет в этой борьбе или, наоборот, плечом к плечу с бен Ладеном и Хусейном противостоять Западу? На этот вопрос автор книги не рискует ответить определенно. Не менее важен и второй вопрос: почему на протяжении многих веков Восток, и в том числе Россия, в широких масштабах заимствует у Запада «инструментальные идеи», а проще говоря, технологии, тогда как заимствования Западом «системообразующих универсалий» от Востока пока что не видно? Если какие-то «восточные» идеи и адаптировались Западом, то они были скорее прививкой на древо западной парадигмы, отнюдь не определявшей его роста. А значит, есть слишком мало оснований надеяться, что в нынешнем однополярном мире ситуация станет принципиально иной.

Панарин верит, что «мы сегодня имеем дело с двумя типами фундаментализма: агрессивным фундаментализмом Запада, не желающим качествен-

но менять планетарную программу фаустовской культуры, и ответным фундаментализмом Востока (в частности, мусульманского), не видящим иного выхода, кроме разрушения западной цивилизации как главного источника планетарной дестабилизации. Преодолеть это столкновение двух типов фундаментализма... можно только посредством новой интеграции восточной социокультурной подсистемы... с западной «производственной» (с. 300—301). Для такой интеграции Западу надо сформировать новую интеллигенцию, открытую Востоку «как источнику альтернативных социокультурных практик». На самом деле такая интеллигенция на Западе есть; к ней, наверное, можно отнести и поклонников дзэн-буддизма, и адептов «марксизма с человеческим лицом». Но она маргинальна, и ее влияние невелико. Недаром говорят, что правоверных марксистов можно сейчас встретить только в Пхеньяне и Гарварде. «Восточные социокультурные практики» хороши для чистых теоретиков и сектантов, но не они определяют глобальное развитие.

В целом «Искушение глобализмом» отражает страх части российской политической элиты перед глобальным вызовом, брошенным США, страх, что Россия так и останется на периферии нынешнего однополярного мира. По давней российской привычке надежду на прорыв в лучшее будущее связывают с действиями внешнего мира: Запад, мол, должен будет принять российскую парадигму и «отстегнуть» кое-что и ее творцам.

Автор книги предлагает два прогностических сценария антиглобализма. Первый — это возврат от транснационального к национально-территориальному принципу организации мировой экономики, к приоритету «реального производства» и «натуральных продуктов» в противовес высоким технологиям. Другой сценарий предусматривает поиск альтернативы в рамках собственно глобализма. Для этого требуется «попытаться противопоставить глобальным организациям капитала глобальную организацию труда, глобальной «исполнительной власти», воплощаемой однополярным господством США, глобальную «законодательную власть», объединяющую ныне политически не защищенное большинство, относящееся к странам мировой периферии» (с. 397). Оба сценария откровенно утопичны, а что такое «глобальная законодательная власть», да еще противостоящая «глобальной исполнительной власти», и вовсе невозможно понять. Никто не в состоянии предложить реальные методы демонтажа уже созданных структур мировой экономической и политической интеграции. И нет ни одной страны-лидера, способной объединить большую часть периферии против западного Центра. Ведь такому лидеру придется, по меньшей мере, предоставить своим клиентам-союзникам технологии, которые сейчас они получают от того же Запада.

Борис Соколов

Идеи в России. Idee w Rosji. Ideas in Russia: Leksykon rosyjsko-polsko-angielski / Pod red. Andrzeja de Lazari. T. 1—4. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo naukowe «Semper», 1999. 492 s. T. 2. Łódź: Univ. Łódzki; Inst. Studiów Międzynarodowych; Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowiologicznych, 1999. 477 s. T. 3. Ibid., 2000. 501 s. T. 4. Ibid., 2001. 672 s.

Этот огромный трехязычный — русско-польско-английский — аналитический словарь не очень легок в работе. Однако за большинством статей, как проблемных, так и посвященных отдельным персоналиям, угадывается колоссальный многолетний труд. Труд не только фактографического овладения материалом, но и теоретического анализа.

Наряду со множеством польских ученых из различных городов и научных центров в создании словаря приняли участие исследователи из Белоруссии, Болгарии, Германии, Нидерландов, России, США, Украины, Чехии. Его авторы — представители разных научных направлений, мировоззрений и дисциплин: историки, философы, филологи, психологи, богословы, семиотики, искусствоведы. Среди польских материалов словаря хотелось бы особо отметить насыщенные информацией и живой, нетривиальной мыслью многочисленные статьи историка русской культуры Анджея де Лазари и семиотика Ежи Фарыно.

Каждый из томов словаря создавался по мере поступления материалов и строился в порядке русского алфавита от А до Я. Для удобства читателей в конце первого, второго и третьего томов приводятся расположенные по алфавиту списки статей на русском, польском и английском языках. Четвертый же завершается сводным указателем по всем четырем томам. Так что работу над словарем, если, конечно, не прочитывать статью за статьей, лучше начинать с указателя в четвертом томе.

Статьи в каждом из них печатаются в четырех параллельных колонках по развороту: на страницах с четной нумерацией — русская и польская колонки, на страницах с нечетной нумерацией — английская колонка и колонка подробной (относительно подробной) библиографии. Впрочем, в четвертую — библиографическую — колонку включен и некоторый иллюстративный материал: российская геральдика и знамена XVII—XX столетий.

Форма исполнения статей словаря различна — от чисто информативных и отстраненно-беспристрастных до сугубо личных, почти эссеистических. Но тем интереснее и поучительнее чтение рецензируемого четырехтомника «Идеи в России».

В его основу положено стремление развернуть панораму российской мысли и культуры, российского духа во всем их идейно-историческом и стилистическом своеобразии. Но что стоит за этим своеобразием — география, экология, социальность, структура и содержание «духовных ар-

хетипов», или специфика исторического процесса, или же сложное сочетание всех упомянутых факторов? И если принять последнее, то как может строиться такое сочетание? Каждый из авторов осмысливает данную проблему на свой лад.

В начале прошлого века чешский мыслитель Томаш Гарриг Масарик высказал и обосновал доселе еще всерьез не воспринятый и не проанализированный взгляд на своеобразие российского культурного опыта. Согласно Масарику, российское наследие XVIII — начала XX столетия, включающее в себя основные элементы истории европейского духа, воспринимает эти элементы почти что во взрывчатом временном сжатии, в компрессии. Так, например, в текстах Владимира Соловьева, мировоззрение которого отражает многие черты российской мысли и духовности, библейские и античные элементы европейского мышления могут стремительно, почти без многовековых опосредований, взаимодействовать с элементами естественно-научного эволюционизма или неокантианского критицизма. Это наблюдение чешского ученого касается вершинных, творческих и глубоко отрефлектированных явлений российской философской культуры.

Но коль так, то эти парадоксальные взаимоотношения и компрессии древности (если не сказать архаики) и модернизма способны проявлять себя во взрывчатых смесях политических идеологий и обыденного сознания, в магических обожествлениях теоретически беспредпосылочных формул (см.: *ElĀbieta Przyby*)» Москва — Третий Рим // Т. 1. С. 262—266), в упрощительных трактовках столь жизненно важных для классической истории европейского духа тончайших диалектических коллизий. Нынешний русский богослов Иван Есаулов замечает в статье «Закон», что сама категория Закона, ставшая со времен Павлова Послания к Римлянам парной по отношению к категории Благодати, несет в себе не столько диалектический (как у апостола Павла), сколько негативный смысл (см.: Т. 1. С. 182—184). Но ведь такая упрощенная — манихейская, конфронтационная — трактовка обеих категорий способна оправдать любую софистику, любую попытку поставить беззаконие под знак самозванной «благодати». Характерные примеры этого — беззакония Ивана Грозного и «ленинско-сталинской» власти. Тот же автор отмечает, что в традиционно-русской картине мира, пусть даже усложненной и обогащенной общехристианскими и новоевропейскими элементами, «бинарная система координат» противостоит возобладовавшей в Европе «тернарной», то есть триадической, тринитарной, в конечном счете диалектической, системе (см.: *Иван Есаулов*. Чистилище // Т. 2. С. 386—388).

Разумеется, этот тезис нуждается в некотором уточнении. Так, многое можно было бы сказать о влиянии христианской тринитологии на историю российской мысли. Не случайно репродукции или копии рублевской «Трои-

цы» украшают ныне немалое число православных и католических храмов на всех континентах; не случайно российская мысль оказалась столь чуткой к гегелиано-марксистской диалектической традиции при всех манипуляторских злоупотреблениях идеологических аппаратчиков и даже вопреки этим злоупотреблениям. Так что поставленный в статьях Ивана Есаулова, а также Ежи Фарино вопрос о непреодоленности архаистических, «бинарных», то бишь манихейских, подходов к сложности мира в российской культуре все же остается в силе, и его возможное решение вряд ли однозначно.

Но вернемся к материалам словаря.

Бинарный мыслительный принцип, о котором шла речь, отчасти закреплялся в самой социальной структуре и исторической динамике России. Закреплялся, в частности, особенностями ее запоздалой модернизации, когда группировки или классы, социально и ментально связанные с полуархаическими или же полувосточными пластами российского национально-государственного наследия, вынуждены были вводить страну в мучительную, но неизбежную для нее реальность Модерн-эпохи. Такова, по мысли украинского исследователя, важнейшая предпосылка двойственной и трагической судьбы дворянского сословия в Санкт-Петербургский период российской истории. Это — сословие вольных или невольных модернизаторов, европеизаторов, носителей назревших культурно-исторических преобразований, но осуществлявших свою миссию на базе крепостного права, а после Крестьянской реформы — на базе крепостнических пережитков во всем комплексе административных, политических и хозяйственных отношений Российской империи (см.: *Владислав Романов. Дворянство* // Т. 1. С. 150—152).

Во многих отношениях именно на бинарном принципе решалась в истории российской мысли Нового времени (а о советском периоде и говорить нечего) сложнейшая диалектическая проблема личности и общества, причем последнее чаще всего сводилось к «народности» или «государственности». Решалась именно механически, в безусловную пользу последних (см.: *Andrzej de Lazari. Право* // Т. 1. С. 324). В подтверждение и уточнение этой мысли я хотел бы отметить, что по правилам некоей психологической инверсии дуалистическое решение диалектической тяжбы «общего» и «частного», то есть личного, в безусловную пользу «общего» нередко оборачивалось вспышками анархического, эстетского или попросту криминального индивидуализма, напроочь чуждого всякой мысли о «человечности другого человека» (категория французского философа Эмманюэля Левинаса).

Но в таком идейном и психологическом раскладе сам процесс исторического и социального познания подчас обречен на односторонность: не сложная и многозначная, стало быть открытая, концепция культурного и нравственного идеала, а идеализированная картинка счастливого буду-

щего (или же счастливого прошлого), не процесс работы над мыслью и через мысль над самим собой, а мечта о «мудрости» как о всезнающей и всеразрешающей социальной и моральной прописи (см.: *Jerzy Faryno*. Мыслитель, мысль, рефлексия // Т. 4. С. 378—382; *Константин Исупов*. Правда/Истина // Т. 4. С. 442—448).

Об элементах доктринерства, нетерпения и абсолютистских иллюзий в истории нашей культуры написано много и в отечественной, и в мировой литературе — художественной, философской, научной. Однако создатели и авторы словаря пытаются идти дальше такого рода констатаций и описаний. Эти на первый взгляд странные черты отечественной культуры определяют не только ее особость, но и ее поразительную для XIX и даже XX веков творческую продуктивность. Казалось бы, трудно подыскать более наглядный пример абсолютистского доктринерства, чем российское народничество, сумевшее «повенчать» почвенническую реакцию на западные влияния с западными же социалистическими мечтаниями и проектами. Об этом писали на разный лад многие мыслители обеих столетий — от Герцена и Чернышевского до Бердяева и Федотова. И все же, по мысли создателей словаря, российское народничество оказалось существенным творческим стимулом не только для отечественной, но и для мировой культуры: исходившие из принципа социального сострадания «почвеннические» теории оказались для России не всегда удачной, но важной формой размышлений о своей стране, о многозначности общественного развития и — шире — о проблематичности истории, как таковой (см.: *Janusz Dobieszewsky*. Народничество // Т. 3. С. 260—268).

Одна из самых интересных попыток разгадать эту проблему творческого перерастания собственных «странностей», собственного «сиротства» и взаимной отчужденности групп и поколений в универсально значимый всечеловеческий опыт (см.: *Олег Попов*. Эдип русский // Т. 4. С. 590—598) содержится, на мой взгляд, в статье Константина Исупова «Встреча» (Т. 3. С. 94—100). *Встреча*, иной раз даже случайная, но вследствие которой обогащаются и преобразуются внутренние человеческие смыслы и миры, — это едва ли не одна из самых важных тем прозы Достоевского и Толстого, поэзии Владимира Соловьева (я бы добавил от себя — всего круга творчества Бориса Пастернака), едва ли не один из важнейших проблемных узлов философии и эстетики Семена Франка, Павла Флоренского, Вячеслава Иванова. *Встреча* в таком экзистенциальном и во многих отношениях даже бытийственном понимании — важнейший акт удостоверения достоинства, призвания и духовной состоятельности человека.

Но здесь, в таком восхождении к общечеловеческим горизонтам, думаю, уже ничего особо «русского» или «российского» нет. Разве только апробация и оправдание (о-правдание!) высших уровней отечественного творчества.

Однако же и за интеллектуально-духовные порывы, и за восхождение к высшей и всегда недосказанной общечеловеческой норме также приходилось платить. Недосказанно-высокая норма не могла не проецироваться на средние, а вслед за ними и на низшие уровни человеческой рефлексии и общественного сознания. Трагизм проецирования высшей нормы на эти уровни поэтически осмыслил еще Пушкин:

...Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!..

«Моцарт и Сальери», сцена I

В этом одна из причин столь характерных для нашей культуры второй половины XIX — XX века «литературоцентризма», «литературщины» — стремления наложить результаты и мерки высших форм творчества на запросы и противоречия эмпирической жизни. Вспомним огромный пласт русской народнической мемуаристики: ее авторы рассказывали, как «делали жизнь» (да простится мне обращение к формуле Маяковского) с тургеневских персонажей — Базарова, Инсарова, Елены. Рецептuru решения жизненных и внутриличностных проблем искали в виртуальной реальности «изящной словесности».

Один из самых знающих исследователей русской культуры позапрошлого столетия Борис Егоров во многом связывает это смешение художественно-виртуальных и чисто жизненных планов российского сознания с наследием «революционно-демократической» критики и публицистики, с прямолинейным стремлением к переносу художественной проблематики в область общественно-политических отношений (см.: *Б.Ф. Егоров. Добролюбов* // Т. 2. С. 112).

Вновь и вновь вчитываясь в материалы словаря, мы сталкиваемся со «странной» диалектикой высочайших духовных прорывов и доктринерских попыток превратить эти прорывы в некое подобие рецептов, которые помогли бы решить наболевшие жизненные проблемы. Но прорывы все же остаются прорывами.

Так, по словам польского православного мыслителя о. Хенрика Папроцкого, сама разработанная Владимиром Соловьевым и его философскими последователями (Сергей Булгаков, Павел Флоренский, Семен Франк) концепция *всеединства* знаменует попытку обосновать персональную, ипостасную внутреннюю взаимосвязь основных содержаний и структур Бытия — взаимосвязь, в конечном счете духовно превосходящую, преодолевающую его эмпирически непреодолимые противоречия (см.: *Henryk Paprocki. Всеединство* // Т. 4. С. 72—78). Речь, собственно, идет о философско-теоретической идиоме богословской идеи Царства Божия. Однако активистской издержкой той же самой философской установки оказалась идеология российского «космизма», в некоторых направлени-

яя которой глубочайшая и философски насыщенная интуиция всеединства может быть понята как прямолинейная санкция на строительство вавилонских башен — пусть даже и во славу Божию (см.: *Ирина Михеева*. Космизм // Т. 4. С. 318—326).

Нередко гипертрофированные формы российского идеологического схематизма и активизма в историографии напрямую связывают с претензиями одностороннего западничества среди россиян. Но некоторые из авторов словаря, во многом исходя из исторической концепции Николая Бердяева, в частности из его подходов к истории большевизма, усматривают в этих крайностях не западничество, как таковое, а скорее его национал-мессианистскую передержку или инверсию, причем с очень сильным оттенком манипуляторского подхода к человеческой реальности. Таковы, в частности, материалы статей Юзефа Смаги (*Józef Smaga*. Большевизм // Т. 1. С. 102—108; Ленин // Т. 1. С. 220—222).

По существу, о подобной же гипертрофии идет речь в интереснейшей статье Ежи Фарыно «Алфавит: кириллица — латиница — алфавит социализма» (Т. 1. С. 30—38). Здесь говорится, в частности, об имевшей место на переломе 1920—1930-х годов попытке (вопреки всей очевидности языка, словесности и традиций самой культуры) создать и внедрить новый русский алфавит на латинской основе. Именно это и называлось «алфавитом социализма». И вовсе не ради утилитарной внутренней вестернизаторской программы (как это было, скажем, в кемалистской Турции или в тогдашних мусульманских республиках СССР), а ради вящей советской гегемонии над «мировым пролетариатом».

Вообще, многие из авторов словаря усматривают одну из центральных болевых зон российской истории и культуры XIX—XX веков в неотрефлексированной и инверсионной связи модернизаторских и мессианских тенденций — связи, которая, как это понял Достоевский чуть ли не полтора столетия назад, колеблется между безграничными чаяниями свободы и безграничным отречением от нее. И подавлением (см.: *Олег Рябов*. Свобода и революция // Т. 3. С. 354).

Попытаюсь подвести некоторые теоретические итоги всему сказанному.

Советский период нашей истории, особенно его последние десятилетия, привлек к изучению российского феномена мощнейший интеллектуальный потенциал разных стран, разных дисциплин, разных идейных и философских направлений. В частности, прямо или косвенно и потенциал российский (эмигрантский, неподцензурный советский и даже — вопреки всем идеологическим рогаткам — официально-советский). Тоталитарная государственность воспринималась большинством исследователей позднесоветской эпохи как некое трагическое удостоверение российского своеобразия (см.: *Marek Styczyński*. Советология // Т. 4. С. 520).

Однако происшедший в последней четверти прошлого века многозначный выход России на новые исторические рубежи (для кого-то это стало предметом неумных восторгов, для кого-то было и остается предметом неумеренных lamentаций) заставляет задумываться не только о «своеобразии» и цивилизационных «истоках» российского феномена (см.: *A. de Lazari*. От редакции // Т. 2. С. 8), но и о его глубочайшей контекстуальной зависимости от истории всемирной, универсальной. Данное обстоятельство не отменяет проблематику «своеобразия» и «самобытности», но сообщает нашим исследованиям и нашему мышлению свойство воспринимать мир-в-нас-самих и себя-в-мире более четко и объемно. Нынешние исследования по истории Запада и Востока, Севера и Юга заставляют, не абсолютизируя уникальности (самобытности, своеобразия) российских исторических, социальных и ментальных структур, в то же самое время с гораздо большим интересом и вниманием отнестись к культуротворческим аспектам нашей истории — к истории языка, мысли, веры, словесности, искусств. В нынешний же постмодернистский период это наследие многие (вслед за кругом Дмитрия Писарева, идеологами футуризма, партийными функционерами и надсмотрщиками над культурой) в очередной раз сбрасывают с «парохода современности». Но что удивительно, подчас даже иные из ниспровергателей, будь то автор «Реалистов» или стихотворения «Послушайте!», продолжают плыть на этом же самом пароходе. Плыть вместе с ниспровергаемыми. Более того, словно по некоей диалектической издевке или, точнее, по некоей потребности человеческого духа в непрерывной самокритике и самообновлении сами бывшие ниспровергатели становятся объектом бунтарских обличений.

Но и собственно культуротворческая сторона российской уникальности теснейшим образом сопряжена с универсальной динамикой духа в истории. Так что, если вспомнить название кинофильма Федерико Феллини, «корабль плывет»: *E nave va...*

Обсуждаемый здесь четырехтомный словарь есть произведение в некотором роде итоговое. Ибо он знаменует сумму достижений и внутренних ограничений *цивилизационного подхода* к российскому феномену — подхода, исторически и историографически необходимого, но вопиюще недостаточного.

Изучение мировой историографии, скажем, от Гердера до Броделя и его последователей в сочетании с новейшими достижениями социогуманитарных наук и с опытом нашего живого присутствия в нынешней «глобальной» реальности обнаруживает существенную устарелость былого цивилизационного дискурса. Дискурса, догматически основанного на сочетании «организованности» с представлением о скрытых сущностях, на гносеологически парадоксальном сочетании позитивизма с эссенциализмом.

Однако в наше время речь идет о новых языках анализа и познания. Сколь бы значительной ни была сила внутренне малоподвижных архетипов, история народов и культур к ним несводима. Любой сложный исторический феномен исходит не только из своих веками слагавшихся внутренних предпосылок. Его внутренний динамический состав, осознанно или неосознанно, включает в себя и силу информационных, эмоциональных, а также смысловых влияний огромного мира (см.: *Andrzej Andrusiewicz. Александра I мистицизм* // Т. 3. С. 32—34). А уж как взаимодействуют, как резонируют друг с другом, как нейтрализуют друг друга или оспаривают друг друга эти архетипы и влияния — особый вопрос.

Материалы словаря подчеркивают особое значение не только сугубо локальных, но и общехристианских предпосылок российского наследия, притом в самом широком плане — от бытовой этики и эстетики до вершин литургического, художественного и философского творчества. Они акцентируют также важность иных голосов и тем в становлении и разворачивании нашей идейной и духовной истории. Таковы неортодоксальные религиозные течения, степные и исламские влияния, этнокультуры Кавказа, просветительство и либерализм, гегельянство, позитивизм, народничество, марксизм, психоанализ, феноменология, структурализм.

Само проблемное, смысловое и эстетическое богатство, подъемы и срывы движущегося сквозь века российского наследия будут подсказывать поиски новых возможностей понимания и интерпретации. Возможностей по ту сторону абсолютистского или релятивистского доктринерства, уводящего и от жизни, и от мысли. А пока — закрываю последний том словаря «Идеи в России» с чувством глубочайшей признательности польским ученым и польской русистике в целом, без достижений которой не был бы собран рецензируемый труд.

Евгений Рашковский